

ДБ "По тюрьмам"
420

П41
Сборник
воспоминаний.
М., 1925.

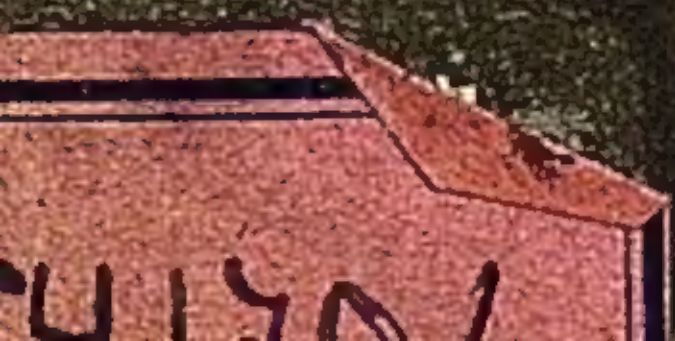
ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ
№ БИБЛИОТЕКА 7^й
ЖУРНАЛА
"КАТОРГА И ССЫЛКА"



ПО ТЮРЬМАМ

В ЭПОХУ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

МОСКВА





ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН
И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ БИБЛИОТЕКА
ЖУРНАЛА „КАТОРГА и ССЫЛКА“

ВОСПОМИНАНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
И ДР. МАТЕРИАЛЫ ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦИОН-
НОГО ПРОШЛОГО РОССИИ

КНИГА VII

МОСКВА

ДБ
420
ПЧ

343.8:323.2

1905

ПО ТЮРЬМАМ

СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ
ИЗ ЭПОХИ ПЕРВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

РЕДАКЦИЯ
Я. ШУМЯЦКОГО



4

СРОК ВОЗВРАТА КНИГИ.

17. НОЯБРЯ 1928

Москва. Главлит № 46.941.

4.100 экз.

„Мосполиграф“, 16-я типография, Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
Як. Шумяцкий.—Предисловие	7
Е. Гендлин.—Из мира заживо-погребенных	17
Я. Зильберштейн.—Воспоминания о Смоленской каторжной тюрьме (1909—1910 г.г.)	29
Е. Самойленко.—В Метехском замке	47
В. Светлова.—Станислав Рымкевич, начальник Тифлисской губернской тюрьмы и Метехского замка	65
Я. Грунт.—Дела давно минувших дней	73
Феликс Кон.—Лодзинское «бюро». Следствие	91
Его же.—«По указу его величества». Казнь	101
Его же.—Телесные наказания	109
Полукто в.—1905 г. в казармах, крепости и тюрьме	112
Пл. Алисов.—Севастопольская городская тюрьма (из воспоми- наний политкаторжанина о 1908—1911 г.г.)	129
В. Панкратов.—«Таганка» 1907 года. Новый арест после октябрьских «свобод» 1907 года	139
А. Кукобин.—Протест в Шлиссельбургской каторжной тюрьме .	158
В. Кухаркин.—Обструкция и голодовка в Тульской тюрьме . .	164
Шейнис.—Каторга в Николаеве	167
Пучков.—Мои воспоминания об освободительном движении 1905 года	173
Н. Зевакин.—Мои воспоминания о 1905 годе	180
Кухаркин.—Полтора года в тюрьме	182
Жуковский-Жук.—Кровавые пятна (Тюремные силуэты) . . .	194
Предатель	196
Варя Коновалова	198
Террор в тюрьме	200
Литвиненко	203
Тюремная драма	205
Ваня Честов	207
Побег	209
Последние жертвы	212

Предисловие.

Очерки, печатаемые в настоящей книге, относятся к давно минувшим дням и непосредственно связаны с реакцией, воцарившейся в России после революции 1905 года.

Дистанция, отделяющая нас от мрачной эпохи «успокоения», настолько значительна во времени, что заставила даже многих участников первого революционного штурма забыть про ту «дань», которую они заплатили царскому правительству и тюремным палачам за свою преданность делу революции.

Еще меньше известны муки борцов по каторжным центрам и в дебрях Сибири людям «непосвященным», то-есть широким массам рабоче-крестьянской молодежи.

Последнее десятилетие, полное крупнейших событий, потрясших все устои старого мира, открыло новую эру на шестой части земного шара.

На барской «вотчине» «надменных потомков известной подлостью прославленных отцов» закипела новая жизнь, отодвинувшая на задний план все пережитки прошлого.

Некогда заниматься раскопками старых руин, когда столько неотложной работы в любой отрасли нового строительства, воздвигнутого на обломках старого.

Таким образом на глазах у современников огромный участок пройденного революционного пути, обильно политого кровью борцов, как бы уходит в глубь истории.

И этот участок меньше всего освещен.

Редкие процессы бывших тюремщиков, охранников и провокаторов время от времени приподнимают тяжелую завесу прошлого и, «пыль от хартий отряхнув», развертывают перед изумленными современниками легендарную картину отжившей эпохи.

Перед зрителями проходит борьба двух миров. Они видят, как в задавленной столыпинской диктатурой царской России, когда все, казалось, безмолвствовало, когда в жуткой тишине замирали редкие голоса осколков революционного подполья,— за тюремной решеткой и в полярных странах Архангельской и Сибирской тундр велась беспрестанная и упорная борьба. В этой последней мужество, героизм и храбрость невольников сталкивались с тупоумной жестокостью и садизмом царских опричников. Борьба эта стоила немалых жертв и велась с переменным успехом, зависевшим от места, времени, а главное—от напора масс, порой очень чутко прислушивавшихся к тому, что происходит за высокими оградами и черными воротами тюрьмы.

«Чистая публика», натурально, не только безмолвствовала и по-пилатовски «умывала руки», но нередко улюлюкала в унисон с черносотенными заправками самодержавия.

Не лучше обстояло дело и в «седьмой великой державе». Либеральная печать вела себя по отношению к заключенным гнусно-издевательски, сохраняя подхалимскую подобострастность по отношению к сильным мира сего.

Нужно ли напоминать, что здесь дело заключалось не столько в цензурной узде и наморднике, надетом на стоустую молву печати, сколько в классовом инстинкте, присущем буржуазии, и боязни ее перед возможностью новой вспышки революции.

Уж больно сильно напугалась трусливая русская буржуазия и ее не менее трусливая «многострадальная» интеллигенция, осмеливавшаяся в 1905 гду робко лепетать о «бессмысленных мечтаниях»!

Теперь она пыталась загладить свои старые грехи. И не даром идеологи нашей либеральной буржуазии в самые мрачные годы оголтелой реакции выпуском сборника «Вехи» воздвигли себе памятник, можно сказать, «нерукотворный». Борющийся пролетариат никогда этого памятника не забудет.

В дни страшной борьбы за утверждение диктатуры советской власти, на подступах к Перекопу или Кронштадту, как и на всех фронтах «огненного кольца», где бушевала белопогонная свора, вдохновленная интервентами, пролетариат не раз мысленно останавливался у памятных «вех», воздвигнутых чернилами Струве, Бердяева, Изгоева и к-о.

Такие памятники историей не забываются, тем более, что они воздвигались на мертвом поле, усеянном костями баррикадных бойцов.

Никто из нас не сможет забыть, что в те черные дни, когда в забайкальских, орловских и др. каторжных центрах люди

вскрывали себе вены и кончали массовым самоубийством в неравной борьбе за право не человека, а арестанта,—в эти самые дни кадеты голосами своих златоустов благословляли «царский кнут», избавивший дорогую родину от ужасов восставшего хама (почти подлинные слова кадета Гершензона, участника сборника «Вехи»).

При таком «сочувствии» русского «общества» к борцам, последним ничего не оставалось делать, как надеяться на свои собственные силы.

Оставалось либо, скрепя сердце, терпеть издевательства, сыпавшиеся как из рога изобилия от больших и малых сатрапов на безоружных арестантов, и чувствовать, как медленно, но верно тебя превращают в бессловесного раба, чтобы тем легче ускорить твою физическую гибель, либо в беспрестанной борьбе, не останавливаясь перед побоями, карцером, лишением горячей пищи, книг и свиданий, все-таки положить предел систематической инквизиции «запечных дел мастеров».

Кровавыми рубцами на теле политических заключенных записана мрачная страница этой борьбы, которая в печатаемых нами очерках изображена, конечно, не в исчерпывающей полноте. Тем не менее читатель и из настоящего сборника убедится лишний раз в том, что за тюремной оградой, как и на воле, имели успех и хотя бы в слабой степени достигали цели лишь те выступления, которые предпринимались организованным порядком. Что же касается отчаянной борьбы отдельных товарищей, под-час рисковавших жизнью, то такая борьба в большинстве случаев кончалась безрезультатно.

Приходится, конечно, констатировать, что и массовые протесты (например, голодовка в Таганской тюрьме, см. очерк Панкратова) также обычно кончались неудачей. Но и в этих случаях большая или меньшая успешность зависела, главным образом, от организованности и солидарности. В данном случае с Таганкой дело было сорвано отдельными негодьями, спровоцировавшими и затем сорвавшими голодовку.

Впрочем, просматривая подлинные «человеческие документы» настоящей книги, мы убеждаемся в том, что суть борьбы и ее цель заключались вовсе не в каких-либо завоеваниях. В гнусных условиях каторжной обстановки обитателям было «не до жиру, быть бы живу».

Частенько приходилось бороться за воздух и свет в буквальном смысле этих понятий. Под самыми разными предлогами у арестантов отнимался свет. Так, например, тов. Алисов рассказывает, что севастопольская тюремная администрация умудрилась своеобразными навесами загородить скудный свет, проникавший сквозь тюремные решетки. В тех же тюрьмах, где изобретательность могильщиков не достигала этих герку-

лесовых столпов, свет у арестантов отнимался более упрощенным способом: арестанту под страхом получить пулю просто возбранялось подходить к окну (см. «Метехский замоку»—Самойленко).

Воздух же отнимался у политзаключенных более сложной системой, обусловленной прежде всего скученностью тюремного населения. Во многих тюрьмах, особенно на пересылках, арестантам не только приходилось спать на полу, но и под нарами. Ко всему этому попечительное начальство ухищрялось отнимать у заключенных установленные 30—40 минут прогулки, отравляло внутренний воздух камер зловонной «парашей», а за малейший проступок бросало людей в темный карцер, зараженный миазмами и пропитанный затхлой сыростью.

А кто не помнит нарочито придуманных мук, в виде применения кандалов без подкандалников, непременно вставанья в 6 час. утра после поверки на молитву, привинчивания коек к стенам, чтобы арестантам нельзя было где-либо присесть или прилечь и т. п.?

Но особенно рельефно на этом адском фоне выделяются страдания и пытки присужденных к смертной казни.

Допросы с «пристрастием», практиковавшиеся во многих тюрьмах, достигли совершенства в «Лодзинском бюро».

На характеристику этого последнего, вышедшую из-под пера тов. Феликса Кона в очерке «Казнь», мы обращаем особое внимание читателя. То же самое относится ко многим другим рассказам, повествующим о телесных наказаниях, знаменитых пропусках «сквозь строй» и т. д. и т. п.

Наша читающая молодежь, воспитанная на октябрьской борьбе и в послеоктябрьских боях за укрепление пролетарских позиций, найдет в этой книге немало поучительного. Но пусть не пытается она проводить какие-либо параллели между пережитой нами эпохой «бури и натиска» последних лет и тем периодом, о котором идет речь в настоящем сборнике.

Бесспорно, что эпоха Красного Октября и последующих за ним событий, связанных также с героической и страшно тяжелой борьбой, в которой победы сменялись поражениями,—эта эпоха не только по своему размаху и достижениям, но даже и по той сумме страданий и жертв, которые были ценой пролетарских завоеваний, представляет неизмеримо больший исторический интерес, нежели вся та борьба и муки, которые относятся к дореволюционному периоду.

И все же, сравнения здесь быть не может.

Дело в том, что в дни борьбы за пролетарскую диктатуру и даже в самые печальные дни наших поражений, когда многие из нас попадали в когти белого зверя (например, в тюрьмы

Колчака, Деникина или Врангеля), красные бойцы чувствовали себя как бы во временном плену.

Правда, этот «плен» в гражданской войне был куда мрачнее и ожесточеннее всего того, о чем могла бы нам рассказать даже история последней империалистической войны. Здесь дело зачастую кончалось массовыми расстрелами, закапыванием живых людей и такими «казнями египетскими», от которых должен будет содрогнуться будущий историк революции.

И все-таки, в конечном итоге, это была открытая борьба, где обе стороны отлично помнили известное правило: «на войне — как на войне».

Нам лично живо вспоминается, например, сиденье в сибирских тюрьмах Колчака, когда режим в смысле жестокости превзошел все, что нам было известно про тюрьмы царских времен.

Однако, когда на наших глазах товарищей выводили из камер на виселицу или вызывали в чехо-словацкую контрразведку с тем, чтобы дорогой расстрелять их якобы за «попытку к побегу», когда над головами многих из нас висел дамоклов меч колчаковской военно-полевой юстиции или вызов к Гайде ¹⁾, — мы все же были относительно окрылены надеждой.

Почему? Да по той простой причине, что сквозь всякие проволочные заграждения и тюремные ограды к нам проникали не только яркие лучи красного прожектора побеждающей революции, но с каждым днем мы наглядно убеждались в близкой гибели наших врагов.

Между строк казенных писак, военных обозревателей фронтов «внешних и внутренних», мы читали о победах красной армии.

Самодельные географические карты сибирских, уральских и даже южных фронтов красовались на стенах мрачных камер.

С затаенным дыханием заключенные водили пунктиром по замысловатым названиям татарских деревень в стерлитамакском или омском направлении, следили за каждым маневром наших частей и победоносно отмечали: «ст. Кольчугино нами взята, скоро Томск, Красноярск и т. д.».

Мы считали себя частью активно-действующей армии, и поэтому никакие скорпионы и казни не могли нас смущать. Ибо мы хорошо знали, что за каждую казнь, за каждое малейшее издевательство и побои наши враги своею кровью заплатят на фронтах.

В грозных голосах «калифов на час» нам слышались трусливые окрики людей, боящихся завтрашнего дня и поэтому ободряющих себя размахиванием кулаков.

¹⁾ Гайда — чешский генерал. Один из свирепейших палачей сибирской реакции.

Нас об'являют заложниками. Об этом публикуют в газетах, желая, видимо, смутить зажатую революционным огнем сибирскую деревню, где не дремлют партизанские дружины.

Нередко дружины, действительно, ждут голоса тюрьмы, на обитателях которой опричники вымещают всю злобу за действия партизан.

Методы и цели «правителей» вполне понятны, но, увы, заключенные в тюрьмах не поддаются.

Вместо ожидаемого эффекта, клонящегося к тому, чтобы казнями заключенных усмирить партизан, влияние тюрьмы на партизанщину идет как-раз в обратном направлении.

Начальство ждало, что «главари большевизма», заключенные в тюрьмах и об'явленные заложниками, из страха перед смертью попытаются воздействовать на партизанские дружины в смысле их успокоения, а выходило совсем наоборот: именно из тюрьмы в тайгу следовали директивы, вносящие и энтузиазм и организованность в лесную стихию, разрушавшие твердыню интервенции и белогвардейщины.

Нередко бывало, что за подобного рода действия тюрьма платилась страшными жертвами. Вспомним казни в Омской, Красноярской и Иркутской тюрьмах, вспомним также и знаменитые арестантские «эшелоны смерти», эвакуируемые колчаковцами с запада на восток под напором красной армии.

Все эти эпизоды смерти и ужаса, конечно, никем из овсяных дыханием могилы не могут быть забыты. Однако, даже и в этих злодейских поступках тюремных негодяев чувствовалась какая-то неуверенность и робость перед грядущим и действительно наступившим «днем суда».

Ничего подобного не могло быть во времена царской реакции.

В жизни людей, осужденных на 20-летнюю или бессрочную каторгу, не было ни малейших проблесков надежды даже в отдаленном будущем.

Разумеется, с точки зрения исторической перспективы, подлинным революционерам и в царские времена было ясно, что «ничто не вечно под луной», «все течет и меняется». Поэтому они в царской тюрьме бодро смотрели вперед, твердо верили в дело классовой борьбы, обусловленной непреложными законами капиталистического развития.

Но, увы, законы—законами, а дантов ад, повторявшийся изо дня в день, продолжался своим чередом. «Довлеет дневи злоба его». В подлой российской действительности того времени, к которому относятся настоящие очерки, казалось, не было ни малейших признаков развития того революционного дела, за которое люди отдали столько жертв и тяжелых испытаний.

За небольшим исключением голосов товарищей, ушедших в подполье и эмиграцию, с воли в тюрьму доносились голоса не только чуждые, но и насквозь нам враждебные. Концерт этих звуков был на редкость зловещим.

На самом верху Столыпины, Щегловитовы, Хвостовы, вдохновляемые черносотенной рептилией, изо дня в день кричали: «крови жажду».

Непосредственно за ними тянулась «думская говорильня», где театральные позы из «оппозиции его величества»¹⁾ не то подобострастно поддерживали «конституционные реформы верховной власти», не то вотировали кредиты «на секретные расходы» министерства внутренних дел (читай—«охранное отделение»).

А дальше слышались робкие голоса «левой» и «запросы», на которые следовали классические ответы Угрюм-Бурчеевых: «не запугаете», «вам нужны великие реформы, нам нужна великая Россия» или: «сначала успокоение, а потом реформы», а то—еще проще: «так было, так будет», «у нас, слава богу, нет парламента».

Вот обстановка в правительстве и «законодательной палате».

Ну, а в буржуазном обществе? Тут все жило применительно к подлости и даже умирало, приспособляясь к ней.

Здесь «лиги любви» справляли свои неслыханные тризны, «афинские вечера» над трупами павших бойцов. Порнография Каменских, Кузьминых достигла необычайных размеров; а Соллогубы, Андреи Белые и Мережковские, мародерствуя на мертвом поле истекающей кровью революции, призывали к смирению, «нирване», «мистической радости» и самоубийствам. Последние, действительно, приняли эпидемический характер; но умирали непременно после кутежей, пресыщений, а что всего подлее, непременно у пианино под аккомпанемент Шопена или стрелялись у зеркала «в позе».

Задушенных голосов революционного подполья в такой обстановке почти и не слышно было.

И политическим обитателям тюрьмы и ссылки нужно было обладать поистине колоссальной выдержкой, чтобы не сгинуть и совершенно не обезличиться в тюрьме, или, что еще страшнее, не пойти по черному пути провокации, пышно распустившейся в тюрьме.

Вспоминая об этой язве, нужно тут же сказать, что такие махровые цветки вырывались с корнем, как только их благоухание доходило до чуткого обоняния политической каторги.

¹⁾ „Оппозиция его величества“, это—крылатая фраза, холопски изреченная Милюковым за границей. Лидер кадетов этим хотел подчеркнуть в Европе, что его партия, в единении с „конституционным монархом“, стоит-де в оппозиции черносотенному правительству.

Разумеется, что тюремные сатрапы ревностно оберегали своих «лягавых собак», сажая их в особые камеры, так-называемые «собачьи кутки».

Встает вопрос: что же поддерживало бодрость духа заключенных в такой удушливой и смрадной атмосфере? Как могли они вести борьбу с вооруженными от ног до зубов тюремными могильщиками, а порою превращаться и в грозную силу, наводившую панику даже на тюремное начальство?

Больше того: как эти товарищи, вспоминая про то жуткое время, говорят о нем порой в весьма добродушном тоне, с юмором, в котором лишь опытное ухо слышит стон сквозь смех и глубокое презрение и ненависть к палачам?

На эти вопросы существует сколько угодно ответов. Но основной причиной, сохранившей бодрость и энергию большинства политических заключенных, была их кровная связь с революционным авангардом рабоче-крестьянских масс, пробужденных к жизни событиями 1905 года.

В отличие от эпохи 70-х и 80-х годов, революционные кадры 1905 года составлялись вовсе не из «избранников», шедших в революцию, как в храм для священнодействия и жертв «за народ». Совсем нет. Революция 1905 года достаточно основательно всколыхнула народную толщу, а эта последняя послала на штурм самодержавия не «избранников для священнодействия», а подлинных пролетариев с мозолистыми руками и крепкими мускулами.

Этой публике незачем было жертвовать за народ, так как она сама была этот народ.

Толкаемые в борьбу, прежде всего, беспощадной эксплуатацией капиталистов и помещиков и «просвещенные» свинцом и царскими штыками, кадры революции, пропахнувшие порохом баррикад, научились ценить свою силу и мощь в открытой борьбе за пролетарское дело.

Попадая в тюрьму и сознавая, что революция временно побеждена, пролетарские бойцы были сильны сознанием, что про уроки Пресни так же, как и про 9 января и всеобщую железнодорожную забастовку в октябре, никто забыть не сможет.

Пусть случайные попутчики революции, испугавшись «восставшего хама», отшатываются от борьбы и идут в стан «праздноболтающих, обгагривших руки в крови».

Пусть даже отступают от революции и кое-кто из тех, кто искренно верил в свою «историческую миссию».

Борьба для них стала непосильной под влиянием первых испытаний и в предвидении долгого тернистого пути. Как плевелы, эти элементы отсеивались от основной массы заключенных, презиравших всякие жупелы и разочарования.

На тюрьму и на Сибирь основная масса заключенных смотрела, как на препятствие, лежащее на пути к цели, которое нужно уничтожить и преодолеть.

Оторванные от борьбы и родной среды, они в самые черные дни своей изоляции ни на минуту не забывали своей связи с фабрикой и заводом, где классовая борьба, несмотря на все измены радикалов и интеллигенции, ни на минуту не прекращалась. За решеткой или даже в карцере, после жестоких побоищ, когда, казалось, «все погибло», здоровое классовое чутье делало свое дело.

«А все-таки она вертится»,—думал боец.—Будет буря, и к ней нужно готовиться. Нужно пополнить свои знания, используя для этого вынужденный «отдых».

И, действительно, тюрьма начинает превращаться в политическую академию.

Какие науки здесь ни проходились!

Какие общественные проблемы здесь ни прорабатывались до исчерпывающей полноты!

Старой гвардии, прошедшей немало тюрем, известны многочисленные случаи «чудесных превращений». Почти неграмотные люди, пришедшие в тюрьму со слабой политической подготовкой, здесь становились зрелыми борцами за дело пролетарской революции.

Мы думаем, что историку нашего времени придется серьезно поработать над «человеческими документами» тюрьмы, чтобы установить связь и влияние тюремного воспитания на судьбы нашей великой революции.

Несомненно, что тюрьма не только воспитывала борцов, но и крепко закаляла энергию последних, подготавливая их к решительным боям за будущие октябрьские завоевания.

Тюрьма выковывала стальную волю и презрение к смерти. Она же приучила к железной дисциплине и товарищеской спайке, в свою очередь сыгравших немаловажную роль в деле великой борьбы на пролетарских фронтах.

Только особой закалкой тюремной кузницы можно об'яснить ту героическую борьбу политических заключенных, которую они вели непрерывно, «наперекор стихиям».

Таким образом, борьба не только сохранила многих от разложения и смерти, но и наоборот, подготовила сильнейших борцов, навсегда оставшихся в летописи великой революции.

Нашей молодежи, поэтому, весьма полезно будет изучить борьбу, проходившую в особых условиях ушедшей от нас эпохи.

Это тем более будет полезно, что картины, рисуемые руками непосредственных «сидельцев», бросают косвенный свет и на ту борьбу, которую наши братья ведут за рубежом Советской республики и которая далеко еще не закончена.

Разумеется, что настоящая книга вскрывает лишь уголок пройденной борьбы. Чтобы глубже ее изучить и иметь наглядное представление о заключенных в царской тюрьме, придется обратиться ко многим другим источникам, уже изданным и издаваемым редакцией «Каторги и Ссылки».

Я. Шумяцкий.

Из мира заживо-погребенных.

Среди российских каторжных тюрем Орловская занимала особое место. Она считалась самым страшным застенком царского правительства, куда направлялись непокорные заключенные со всех каторжных тюрем. В этой страшной тюрьме в течение десятков лет томились сотни и тысячи политзаключенных, и царские опричники творили над ними свой суд и расправу. Свидетелями ужасов орловского застенка были только каменные своды тюрьмы и бесчеловечные исполнители воли царских сатрапов — тюремные надзиратели. Результатом режима Орловской каторжной тюрьмы явился рост тюремного Троицкого кладбища, на котором погребено, вместе с погибшими, много таинственных историй.

Если бы мертвецы могли заговорить, они рассказали бы о пытках, насилиях и издевательствах, которым они подвергались до тех пор, пока смерть не избавляла их от нечеловеческих мук.

Много заключенных входило в эту страшную тюрьму, много в ней жило и мучилось, но редкий заключенный доживал до своего освобождения. Особенно бросалось это в глаза в первые три-четыре года ее существования, когда во главе тюрьмы стояли такие палачи, как начальники Мацевич и Синайский, инспектор фон-Кубе, помощники начальника Аненко, Грибовский, Дурнев, граф Сенгайло, Семашко-Селодовников, Батурин, Комаров; старшие надзиратели Загородний, Козелкин, Новченко, Калафута, Кацуруба и др. Имена перечисленных палачей должны быть причислены к самым страшным именам умершего режима, и позорная память о них навсегда останется кайновым пятном на лбу сгнившего мира.

К числу единичных заключенных, переживших все ужасы первых лет существования Орловской каторжной тюрьмы и вышедших здоровыми на волю, принадлежит и пишущий эти строки, который просидел в каторжной тюрьме с 1908 г. по 1912 г.

Впервые о существовании Орловского каторжного централа я узнал в Харькове в 1907 году, когда я, еще будучи подследственным заключенным, объявил голодовку и ко мне явился

начальник тюрьмы Фельдман, чтобы уговорить меня бросить голодовку.

«Бросьте, батенька, голодовку, а то после суда, как бунтарь, очутитесь в Орловском централье».

Слова «Орловский централ» прозвучали, как пустой звук, и угроза «отправить в Орел» была отнесена к тому циклу жупелов, которыми запугивали нас; молодежь, жандармы и тюремщики.

Однако через год, когда я лежал избитый, окровавленный на полу в одиночке Орловского централа, я вспомнил слова начальника Харьковской тюрьмы Фельдмана, и слова «отправить в Орел» наполнились адским содержанием.

В один из июньских дней 1908 г., кажется 13 июня, меня и еще нескольких заключенных, осужденных по различным политическим процессам на каторгу, вызвали в контору тюрьмы и об'явили нам, что нас, по распоряжению главного тюремного управления, отправляют в Орловскую каторжную тюрьму.

«Плохо там, в Орле,—сказал начальник тюрьмы,—в особенности тем, у кого в бумагах имеются данные о бунтовщических наклонностях, а у вас у всех там неладно».

Мы сказали начальнику, чтобы он о нас не беспокоился, и что мы везде и всегда сумеем за себя постоять.

Нас заковали в кандалы и отправили на вокзал.

Когда конвойные в вагоне сделали перекличку, они нам сказали: «Худо, ребята, в Орле-то. Запасайтесь крестами и, как только завидите тюрьму, снимайте шапки, а то беда будет—убьют».

Мы слушали и посмеивались: «мы сумеем за себя постоять». Когда нас ввели во двор каторжной тюрьмы, нас окружила толпа пьяных надзирателей и начала издеваться над нами.

Вдруг дверь конторы раскрылась и на крыльце появился круглый как шар помощник начальника Грибовский.

«Смирно. Шапки долой!»—скомандовал старший надзиратель Новченко... Мы не тронулись с места.

«Что, с гонором? Посмотрим дальше».

«Здорово ребята»,—крикнул помощник.—«Здравствуйте»,—ответили мы хором.

«Захар Иванович»,—обратился помощник к старшему надзирателю,—«скажи им, как надо здороваться»,—и тот рявкнул: «Здравия желаем ваше высокородие».

«Здорово, сволочи»,—обратился к нам помощник.

«Мы уже со сволочью здоровались»,—ответил тов. Фридман.

Как только помощник это услышал, он соскочил с крыльца и стал его бить по голове рукояткой револьвера.

Мы все бросились к товарищу, стали протестовать и требовать прокурора, заявив, что в противном случае не пойдем в камеры.

Через несколько минут вышел начальник Мацевич и заявил нам: «Идите в камеры—туда придет прокурор и вы ему там заявите свои претензии».

Нас выстроили попарно и повели к низенькому длинному зданию. Надзиратели, окружившие нас, пошли вперед, а за ними стали входить мы в длинный темный коридор. Когда мы вошли, с передних рядов стали раздаваться душу раздирающие крики... Через несколько секунд меня кто-то подхватил, ударил чем-то по голове, повалил и опять приподнял,—и я потерял сознание... Очнулся я от удара сапогом по лицу.

«Вставай, сволочь!»,—раздалось над моим ухом... Я не понимал, чего от меня хотят, и опять посыпались удары сапогом по лицу и голове.

Я поднялся... Все тело заныло от страшной боли, и я опять потерял сознание. Меня окатили водой из пожарного крана и опять поставили на ноги.

То же самое делалось и с моими товарищами...

Пол и стены были залиты кровью, всюду валялись окровавленные товарищи...

«Раздевайся!»—раздалась опять грозная команда и снова начали работать резиновые палки, нагайки, кулаки, мешки с песком, которыми отбивали легкие без следов побоев.

Раздеваться было трудно, так как ноги были закованы, но медливших подгоняли побоями... Наконец, все были раздеты и построены в шеренгу. Кругом раздавался дикий хохот пьяных надзирателей, вытиравших окровавленные руки об одежды раздевавшихся заключенных.

Началась приемка. У столика сели помощники начальника Грибовский и Аненко. Начали вызывать заключенных: «Иванов, Иван». Вызываемый подходил.

«За что судился?»

«За принадлежность к партии социалистов-революционеров».

«Эге! Вот какая ты птица».

«Крест есть?»

«Нет».

«Партия соц.-революционеров это — партия, убивающая верных царских слуг,—обратился Аненко к надзирателям.—Это слуги сатаны и жидов»—и, выкатив глаза, рывкнул:—«Бей жида! Бей социалиста!»

Эта вакханалия продолжалась целый день. Били за то, что крест есть, били за то, что креста нет. Били всех. Падавших поднимали, окачивали водой и опять били.

Когда очередь дошла до меня, помощник крикнул: «Это уж настоящий жид, посмотрим из каких». Меня спросили, за что я судился. Я не ответил. «Ты чего, сволочь, молчишь? Ты не видишь, кто пред тобою стоит? Я—Аненко, твой бог и царь. Хочу, с кашей тебя с'ем, хочу в масло пахтаю. Здесь тебе никакие молитвы не помогут». — Он бросился меня бить. Я вырвался и ударился головой о стену. Меня подхватили, бросили, били, и я опять потерял сознание...

Очнулся я в одиночке, лежа голый на асфальтовом полу.

Когда я открыл глаза, я не мог понять, где я нахожусь и что со мной было... Вдруг острая боль пронзила мозг: «Меня били, били и я не реагировал. А впереди целых четыре года. Выдержу ли я?... Хорошо бы умереть...»

Вдруг радость охватила меня: брезент койки был привязан к раме веревками... С лихорадочной поспешностью начал я отвязывать веревки.

«Можно уйти из этой жизни».—Эта мысль утраивала мои силы. Развязал веревки. Затем я их прикрепил к форточке, поставил «парашу», сделал петлю, одел ее на шею и отбросил ногой «парашу». Все закачалось. Перед глазами пролетели обрывки мыслей, воспоминаний, образ матери, и все исчезло...

Когда я открыл глаза, около меня суетились люди, терли меня, давали что-то нюхать, а сам я лежал на полу. Когда доктор Рохлинский увидел, что я открыл глаза, он крикнул: «Положите эту сволочь на одеяло и тащите в больницу». Когда меня проносили через коридор, я услышал, как помощник Сенгайло кричал на надзирателя: «Куда ты смотришь? Уже третья сволочь сегодня вешается!» Меня понесли дальше, и я уже не мог слышать, что он говорил.

Так начался первый день моего заключения в Орловской каторжной тюрьме.

Я остановился подробнее на приемке и на всем пережитом в первый день потому, что приемка в орловском режиме играла главенствующую роль. Заключение при приемке оглушался, и это оглушение продолжалось для одних до того времени, когда их в грубо сколоченном ящике отправляли на Троицкое кладбище, для других—когда им посчастливилось освободиться из тюрьмы.

Тюремный день начинался рано:

В четыре часа утра раздавался звонок, и все должны были сложить постели, замкнуть койки и стать среди камеры на вытяжку. После того, как прстоишь полчаса, — открывалась форточка, мимо нее пробегал помощник начальника, — это поверка. Затем начинался тюремный день. Каждому вбрасывался в камеру паек хлеба, черный как уголь и липкий как смола. Когда его жевали, он скрипел под зубами. Ставилась

и кружка горячей воды. Затем выдавалась суконка, которой должен был натираться пол. Когда заключенный вычищал посуду и пол, входил «отделенный» для ревизии. Носовым платком пробовал пол, и если на платке оставалось пятнышко, начинался бой.

Затем открывались двери и раздавалась команда: «марш на прогулку!» Каждый должен был бежать вниз и строиться в ряды. Начиналась военная муштровка. Она сопровождалась ударами в грудь и по голове... Когда старшему казалось, что намуштрованы достаточно, раздавалась команда: «шагом марш», и всех выводили на большой двор, где начиналась шагистика. Все сто человек должны были ходить по четыре в ряд, в ногу, по кругу. Такая «шагистика» под звон кандалов доводила нервных людей до истерики. Горе тому, кто вздумает сказать слово товарищу, шагающему рядом. Зоркий глаз надзирателя сейчас же заметит, и на голову «виновного» посыплются удары. А если случится здесь помощник Батурин, то «преступник» отправляется еще в карцер. После 15 минут такой «шагистики», раздавалась команда: «кругом марш», и все опять разгонялись по камерам.

В двенадцать часов подавали в форточку «обед», который состоял из «баланды» — теплой водички с плавающими в ней несколькими крупинками и жировыми блестками — и «собачьей смерти», — так арестанты называли сухую кашу из затхлых круп. Новичек редко когда решался дотронуться до этого обеда, но голод брал свое, и понемногу начинал привыкать и к этим блюдам...

Но всего этого было так мало для молодого здорового организма, что на почве хронического недоедания развивались разные болезни. За весь день арестант не имел права прилечь, — он должен был сидеть целый день; если же он начинал ходить по камере, то бряцали кандалы, а за это опять избивали. Боем день начинался, боем же день кончался, и так проходили день за днем, без просвета, без отдыха, доводя одних до могилы, других до сумасшествия... Редко кто из заключенных не покушался на самоубийство. Но умереть в Орле тоже трудно, — этих «счастливых» было очень немного, ибо большинство с петли снималось надзирателями, которые день и ночь смотрели в «волчки» (маленькие окошечки, сделанные в двери и в стены).

Над убегающими от жизни издевались; и издевательства кончались побоями. Так, когда был снят с петли Сергей Кудрявцев (осужденный в Брянске за принадлежность к партии с.-р.), его стали бить, а потом бросили в карцер; здесь его нашли лежащим без сознания. Кудрявцев в скорости умер. Сапотницкий (осужденный по делу социал-демократической фракции 2 Государств. Думы) был вынут из петли живым еще, но через

день умер; покушавшийся на самоубийство Литвинов (анархист-синдикалист) остался паралитиком и душевнобольным; попытка самоубийства Меера Фридмана была пресечена, но он в скорости умер; застигнутый при покушении на самоубийство Бойцеровский (осужден в Польше за принадлежность к П. П. С.) был избит и брошен в карцер; Файнберг Самуил (соц.-рев., покушался на военного министра Редигера) был снят с петли живым. Список этот можно было бы продолжить, но я не стану утомлять читателя; замечу только, что мечтой каждого заключенного было уйти из этой жизни как можно скорей, т. к. веры на освобождение ни у кого не было. Большинство самоубийств случалось в скорости после прибытия на каторгу. Все эти ужасы так ошеломляли вновь прибывших, что они все начинали метаться во все стороны, ища выхода,—а вых о д был только один—с м е р т ь... Смерть уносила свои жертвы ежедневно...

Немногие выдерживали этот режим: из тех, кого не убивали, одни сходили с ума, другие кончали самоубийством, а третьи заболели и умирали.

Тюремный врач Рохлинский, сподвижник и помощник орловских палачей, мог бы рассказать, сколько свидетельств о смерти подписал он в скорбной книге, сколько заключенных умерло своей смертью и сколько было замучено палачами, от чего умерли Сергей Кудрявцев, Сапотницкий, осужденный по делу думской фракции, Алексеев, заключенный по делу Фонарного переулкa, Фридман, Шагинян и многие другие.

Смертность в Орловской тюрьме была так велика, что она даже смутила непривыкшее смущаться главное тюремное управление, которое, когда сведения об этом попали в заграничную печать, назначило специальную комиссию, которая зарегистрировала 365 туберкулезных больных, при чем развитие болезни находилось в 3-ей стадии. Была назначена специальная комиссия под председательством инспектора фон-Кубе, известного палача-тюремщика, который снаряжался в карательные экспедиции по усмирению каторжных тюрем. Комиссия поработала... и поручила старшим надзирателям раз'яснить заключенным... «правила гигиены»...

В нашу камеру, в которой сидело несколько врачей, читать «лекцию» по гигиене явился старший надзиратель Степанов. Поставив ногу на скамью и глядя на носок сапога, он начал: «Начальство приказало бороться с этой самой микробой. Микроба эта—нальешь воды на стол, не вытрешь, и самая пыль в рот попадет»...

«Ты чего, сволочь, смеешься»,—обратился он вдруг к фыркнувшему тов. Бойцову.—«Дай ему, Ионов, в морду». Раздался удар по голове и лекция продолжалась... «и потому, на пол»

не плевать, кандалами не греметь, к окнам не подходить», — неожиданно закончил он. Некоторые товарищи невольно фыркнули, и опять заработали кулаки.

Не всегда избиения сходили палачам безнаказанно. Иногда случалось, что избиваемые бросались на своих палачей и гибли под ударами шашек или под пулями обезумевших тюремщиков. Таких «случаев» было очень много. Самый яркий из этих «бунтов» был 10 августа 1910 г., стоивший многим жизни.

Это было в очень жаркий день: солнце не грело, а жгло людей. Железо кандалов накалялось так, что от их прикосновения буквально получались ожоги. Работать в этот день «на хлопках» было невыносимо, но над головами висел «дамоклов меч», и люди работали. Только нагайка продолжала неумоимо хлестать направо и налево. За последнее время все почувствовали, что так жить больше нельзя, и все напряженно чего-то ожидали. Администрация тоже чего-то ожидала и к чему-то готовилась. Повсюду были расставлены удвоенные караулы, проведена электрическая сигнализация, башни обиты железом и проч. Товарищ Богданов был поставлен в этот день рубить топором длинные волокна хлопка. Надзирателю Ветрову показалось, что он работает не так быстро, и он окатил его водой и ударил жгутом из мокрого каната по голове. Лицо товарища исказилось от боли. Когда надзиратель отвернулся, насвистывая какую-то веселую песенку, тов. Богданов вдруг сорвался с места и ударом топора разрубил ему голову так, что тот, не издав звука, замертво упал.

Богданов сорвал с убитого револьвер и стал стрелять в других надзирателей, ранив надзирателя Андреева.

С башен был моментально открыт огонь по всем товарищам, работавшим на хлопках; сбежалась администрация, и началась дикая вакханалия, продолжавшаяся до ночи. Стреляли в людей, мирно работавших. Когда 6 человек было убито и около 30 ранено, раздалась команда начальника Мацевича: «Огонь прекратить, бить шашками»... И опять полилась кровь... Товарищи отбивались, но железо сильнее рук и железо победило... Повсюду валялись трупы убитых, раздавались стоны раненых, а надзиратели, топча их, «защищали престол». Орловский губернатор Андреевский, налюбовавшись, как работали его молодцы, благодарил их «за службу».

Но и на-завтра расправа продолжалась: тридцать три человека были наказаны розгами; сто закованы на год в кандалы и рассажены по одиночкам, а 18 преданы московскому военному суду по обвинению в бунте. Всем обвиняемым была предъявлена 279 статья, грозящая смертной казнью. Администрация начала «фабриковать свидетелей» из провокаторов, уголовных цыган и надзирателей.

Вот как это делалось: лицо, намеченное в свидетели, забиралось в карцер или в одиночку, избивалось там предварительно до полусмерти; когда же оно соглашалось дать требуемое показание, его вели на допрос к следователю. Обвиняемым же в частной защите было отказано. Военный суд был созван в конторе тюрьмы, где он и заседал целую неделю.

Целую неделю вся тюрьма с тревогой ожидала, что вот-вот зияющая пасть смерти проглотит еще восемнадцать товарищей. Но у самих обвиняемых едва ли был страх перед смертью, они шли на суд, чтобы кричать об ужасах Орловской каторжной тюрьмы.

На суде они один за другим рассказывали про все ужасы, творящиеся здесь, и как ежедневно уходят в могилы молодые, здоровые люди, вина которых заключалась только в том, что они любили людей больше себя... Обвиняемые разделись на суде нагими и показали судьям незажившие язвы от ударов ключами, нагайками и шашками...

Дрогнуло сердце даже у военных судей... Председатель не мог продолжать заседание и прервал его...

Затем развернулась картина фабрикации свидетелей и подбрасывания к мастерским железных полос, с которыми якобы арестанты бросились на надзирателей. Этой провокацией руководил помощник Семашко-Солодовников, отличавшийся потом такими же подвигами в Киеве. Обвиняемые превратились в обвинителей, и даже суд, созванный в застенке, не мог скрыть это. Страх за судьбу товарищей все-таки не отошел от всех нас, ведь их судьба находилась в руках военных судей. «А судьи кто»?...

Но иногда бывает, что и под военным мундиром начинает биться человеческое сердце: прокурор отказался от обвинения, защита требовала суда над администрацией, а суд вынес всем обвиняемым оправдательный вердикт.

Каторга заликовала. Люди обнимались, как в «светлое воскресенье», и казалось, что в этот день своды не так давят своей массой, и казалось, что впереди уже недолгие годы неволи...

Администрация была ошеломлена приговором и ходила и действовала растерянно.

Мы все были уверены, что все тюремное начальство будет предано суду, но человек предполагает, а главное тюремное начальство располагает. Вся тюремная администрация получила повышения: инспектор фон-Кубе был назначен инспектором забайкальских каторжных тюрем, начальник Мацевич был назначен начальником Полтавских рот, помощник граф Сенгайло—начальником Брест-

Литовской тюрьмы, Аненко—заведующим участком строящейся Амурской железной дороги (по газетным сведениям, прогнан оттуда за кражу), помощник Головкин—начальником Алгачинской каторги (где начал вводить «орловские порядки» вместе с забайкальским губернатором Киашко), помощник Дурнев стал начальником Елецкой тюрьмы и т. д., и т. п.

В Орел была назначена новая администрация во главе с начальником Синайским (бывший начальник Владимирской каторги). Вместо ожидавшихся улучшений, началась жизнь еще более мучительная, чем во времена Мацевича, и смерть опять стала уносить в могилу товарищей-братьев...

Революционная волна 05—06 года захватила людей всех сословий: на-ряду с сознательными элементами—массу случайных «попутчиков». Разгул же реакции не знал пощады ни для тех, ни для других и захватил в свои цепкие лапы всех, кто попадался. В Орле вы тоже встретите и профессионала-революционера, и повстанца-солдата или матроса, малосознательного рабочего и темного аграрника. Среди тех и других были люди, глубоко убежденные в своей идее, но были и совсем случайные. Многим приписывались преступления, которых они никогда не совершали. Охранники вместе с жандармами посредством провокаторов фабриковали громадные процессы, на которых осуждались на каторгу лица, ничего общего с революцией не имевшие, и, как «страшные революционеры», доставлялись в Орел. Ужасы каторги обрушивались на этих людей и оглушали их. Все их существо выражало только один животный страх за жизнь.

Из этих людей орловская администрация организывает по камерам шпионаж: она рассаживает провокаторов по общим камерам, и те должны докладывать обо всем, что творится внутри. Но провокатор, сознавая свою силу, начинает пользоваться своим положением и собирать «дань», грозя в противном случае донести. Так, провокатор Бенсианов заявлял лицу, у которого он заметил чай, сахар:

— Отдай, а не то пойду скажу, что ты хочешь убить надзирателя, и тебя за это убьют. Знай, что я могу и «баранки» (кандалы) надеть на ноги и на «троицкое» (кладбище) отправить.

К ужасу—это было не хвастовство. Стоило провокатору что-либо сказать, как бы ни была глупа и несообразна выдумка, ей все-таки доверяли, и—начинались пытки.

Группа латышей во главе с товарищем Кульманом была избита и отправлена в карцер по доносу провокатора Мирошниченко, заявившего, что они в бога не веруют.

Но мало и этого... «Лавры» охранных отделений тоже не дают покоя орловским тюремщикам; они задают себе вопрос: «почему бы не нам?» И вот помощник Аненко вызывает двух

провокаторов, Вальчука и Бенсианова, и дает им записку, адресованную одному брянскому рабочему; записку эту он приказывает зашить в шапку товарищу Песину. В записке «автор» просит, чтобы брянские рабочие реагировали на ужасы каторги и чтобы бомбами взорвали контору тюрьмы, когда в ней будет вся администрация. Записку эту написал сам Аненко. (Это узнали впоследствии от избитого надзирателем Вальчука).

Но провокаторам мало дела до этого, они исполняют.— На другой день толпа надзирателей во главе с Аненко врывается в камеру, где сидел Песин. Для «виду» обыскивают везде,— ищут, роются, пробуют деревянными молотками пол, стены, и, наконец, в шапке тов. Песина находят ту записку... Начинается «следствие»... Песин заявляет, что записку он не писал, что ему ее подложили. Тут выступает «беспристрастный» следователь Аненко и начинает шашкой плашмя бить Песина, приговаривая:

— Лучше, сволочь, признавайся, а то все равно узнаю...

Потом, обращаясь к камере, спросил:

— Кто видел, как Песин писал записку?

Провокаторы Бенсианов и Вальчук заявляют, что они видели. Аненко их опять вопрошает:

— С кем Песин советовался?..

Провокаторы называют целый ряд неприятных им лиц: тов. Абрама Чапника, Уманского, Ротовецкого, Б-ра и других. Всех сейчас же начинают избивать и ведут в контору, где начальник Мацевич кладет резолюцию: «Пороть до бесчувствия, заковать в кандалы, рассадить по карцерам и передать дело жандармам».

Программу выполнили как нельзя лучше. Из бани, где производилась экзекуция, всех на одеялах понесли по одиночкам. Через несколько дней приехал для допроса жандармский ротмистр, чтобы «достряпать» дело.

Но тут выступила наружу глупость орловских тюремщиков: они забыли о существовании экспертизы. По требованию товарищей, была вызвана экспертиза, которая установила по почерку, что записка эта не писана «обвиняемым». Когда товарищи потребовали, чтобы записку сличили с почерком Аненко, жандарм сухо заметил:

— Аненко не обвиняемый.

Администрация была сконфужена неудавшейся «махинацией» и очень озлобилась на виновников неудачи. Все товарищи все-таки пробыли в кандалах целый год. Один из товарищей не дожидаясь расковки и умер.

Тяжелы в Орле страдания, на которые обречены заключенные, но тяжелее нравственная пытка, продолжающаяся все

время... Она сводит в могилу еще больше людей, чем побои...

Надзиратели Орловской тюрьмы любят заниматься «спортом». Но спорт там особенный: Надзиратели Калафута, Загородний и Козелкин заспорят, бывало, на бутылку водки: кто собьет с одного удара арестанта такого-то. Для этого выбирают самого здорового. Вызываемый выходит. Раздается команда:

— Стой смирно! Не шевелись!

«Спортсмен» засучивает рукав и со всего размаха ударяет арестанта по голове или в грудь. Если об'ект спорта падал, — проигравшие надзиратели мстили ему же за проигрыш... Если же проигрывал бьющий, то и он не оставался в долгу... опять перед избиваемым же.

Надзиратель Нестеров (щелконос) занимался иным «спортом»: он любил щелкать в нос. Это был с виду добродушный гигант, имевший вместо лица маску с маленькими глазками и колоссальных размеров ртом. Рот его вечно был искривлен в улыбку. Намеченную жертву он обыкновенно вызывал в коридор и начинал «давать щелчки». От первого щелчка появлялась кровь, а он спокойно, даже лениво замечал:

— Утрись, а то руку запачкаю...

И продолжал свое дело, пока жертва не падала, обливаясь кровью. Тогда он открывал камеру и опять спокойно-лениво приказывал:

— Внесите-ка его, хлопцы, в камеру, а то он пол запачкает. Так забавлялась низшая администрация.

Высшая же любила особые торжественные «парады»...

В праздничный или в «царский» день, перед окончанием обедни, арестанты выстраивались около церкви. Выходил помощник Аненко и командовал:

— Равняйся собака к собаке. Смирно!..

Все должны были замереть. Затем выходил инспектор фон-Кубе со сворой тюремщиков и здоровался. Поздравлял с праздником и возглашал:

— Да здравствует государь император!

Все должны кричать «ура». Этих здравий было очень много. Затем все должны были петь «Боже царя храни» и «Спаси господи». После пения все должны пройти «церемониальным маршем» перед администрацией.

Если дежурному помощнику казалось, что вся эта церемония проделывалась не так усердно, он выстраивал на коридорах надзирателей, и возвращающиеся с «парада» прогонялись сквозь строй.

После таких «парадов» я видел лица, искаженные от боли, от нравственной пытки. Я видел глаза, полные слез, слез бессилия. Часто можно было слышать такие истерические выкрикивания:

— Лучше, палачи, сразу убейте, чем так пить кровь по каплям.

Долго после таких «парадов» люди сидели молча и думали грустную думу: надолго ли хватит сил для терпенья...

А муки не уменьшались. Извращенное воображение палачей измышляло все новые и новые пытки.

Начальник каторги Мацевич был очень «религиозный человек». В своих наставлениях он часто любил цитировать евангелие...

Однажды за неделю перед рождеством я вместе с двумя товарищами был посажен в карцер за отказ почистить старшему шинель. Наступил канун рождества. Вспомнился этот вечер в домашней обстановке. Я так увлекся воспоминаниями, что совершенно забыл окружающее, и холодный темный карцер, и цепи, и побои... Многое вспомнилось...

Вдруг послышался топот ног, щелканье замков, скрип ржавых петель открываемых железных дверей. Открылась и наша дверь. «Смирно!». В камеру вошел начальник вместе со свитой и начал своим ржавым металлическим голосом поучать,

— Две тысячи лет тому назад в этот день на землю явился Христос, заповедавший любить ближнего, как самого себя... Вы мне не ближние, и я вас не очень-то люблю. Но... марш, сволочи, по камерам...

Кроме религиозности, орловским тюремщикам присущ был «квасной патриотизм» и ненависть к «жидам». Каждый надзиратель считал своим долгом дать еврею подзатыльник. Убийство евреев администрация ставила даже как бы в заслугу. Каждый надзиратель имел привычку спрашивать:

— За что судился?

Если следовал ответ, что судился по политическому делу, начиналось избиение; если же отвечали, что за убийство еврея или за изнасилование женщины, надзиратель поощрительно хохотал и уходил, приговаривая:

— Ишь, чорт.

Раз нас повели в баню, и надзиратель Коцуруба, тупой и толстый хохол, обратился к одному заключенному аграрнику:

— Дорошенко. Ты за що судився?

— Урядныка убив, господин старший,—флегматично ответил Дорошенко.

— Ах ты, сволочь,—и рука Коцурубы поднялась для удара.

— Да вин був жид,—поспешил добавить смысленый Дорошенко... И рука надзирателя осталась висящей в воздухе...

Так в нашей жизни комическое перемешивалось с трагическим.

Е. И. Гендлин.

Воспоминания о Смоленской каторжной тюрьме.

(1909—1910 г.г.)

I.

После ночевки в Смоленской пересылке, рано утром нас отправили в каторжную тюрьму. С тревожным чувством подходил я к этому мрачному зданию, где мне предстояло протомиться неопределенно-долгое время.

«Смоленская временная каторжная тюрьма», как ее называли в официальных бумагах, вытянулась длинным прямоугольником со своими массивными стенами и сторожевыми вышками. Тюрьма состоит из двух корпусов. В главном раньше были арестантские роты, во втором—расположены одиночки. К корпусам примыкают служебные постройки: контора, баня, мастерские, больница и пр.

К моменту моего прихода в тюрьме уже окончательно сложился тот режим, который в главных чертах сохранился вплоть до февральской революции. Творцом этого режима был знаменитый полковник Черлениовский, известный в арестантском мире под кличкой «Петрушка». После перевода Петрушки в Псков его место заступил Гордов, тоже полковник из кавалеристов. Это был жестокий и вспыльчивый человек, органически не терпевший противоречия и любивший всенародно распекать арестантов, размахивая палкой, на которую обычно опирался. Для Гордова все вопросы были уже давно разрешены, все было предусмотрено до мельчайших подробностей, и всякое возражение, всякое сомнение в мудрости его распоряжений рассматривалось, как личное оскорбление, за которое виновного нужно наказать карцером.

Когда наша партия прибыла на тюремный двор, ее встретил Гордов, тут же произнесший довольно длинную речь. Смысл ее сводился к необходимости подчинения всем требованиям тюремной администрации. Начальник перечислил даже некоторые пункты или «заповеди», неисполнение которых каралось с особою

строгостью. Уже находясь в камере, я узнал, что все эти правила собраны в одну «Памятку каторжанина», с которой полагалось ознакомиться всем обитателям Смоленской тюрьмы. Говорили, что «Памятку» сочинил сам Гордов, а отпечатали ее по распоряжению тюремной инспекции. Вот некоторые «заповеди» этого евангелия, столь характерного для литературного творчества царских тюремщиков:

I. В чужой монастырь со своим уставом не суйся ¹⁾.

II. Чти власть предержащую, ибо сказано: «кесарю—кесарево, божье—богу».

III. В положенное время возноси молитвы господу.

IV. При встрече с начальником приветствуй его словами: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие».

V. Береги одежду.

VI. Запрещается разговаривать на арестантском жаргоне и пользоваться словами, заимствованными из иностранных языков, и пр. и пр.

Кроме этого писаного устава был еще и неписанный регламент, который предусматривал все другие стороны нашей жизни. Первое же соприкосновение с Смоленским «монастырем» показало мне, что здесь на учете каждый шаг, каждая минута. После вступительной речи начальника раздалась команда: «Стройся!». Вызывают. Каждого опрашивают имя, отчество, фамилию, откуда прибыл и пр. Затем опять «стройся!». Не дали передохнуть и уже гонят в баню: «Живо раздевайся!»—несется голос надзирателя,—«ну, шевелись!.. Кончай скорее!». В несколько минут нужно раздеться (т.-е. совершить довольно сложную операцию с протаскиванием брюк и белья через кандалы на тюремном языке «браслеты», т.-е. железные обручи «бугеля»), нужно смыть с себя дорожную грязь и снова одеться с теми же трудностями. Нам выдали довольно жесткое белье, плохо сшитое, с бесчисленными заплатами. Я невольно вспомнил рассказы о «голом бунте». («Голый бунт» впервые был произведен в конце 1906 г. в Смол. каторж. тюрьме полит. заключенными в виде протеста против переодевания в арест. платье. *Ред.*) Можно было понять товарищей, предпочитавших ходить нагишом, чем одевать такое дрянное белье. После бани меня вместе с некоторыми другими каторжанами из нашей партии поместили в одну камеру, где уже находилось десятка полтора недавно прибывших уголовных. Камера, как и другие соседние, должна была, по тюремному регламенту, отбывать месячный

¹⁾ Я хорошо помню, что этой поговоркой начиналась «Памятка», как и речь начальника тюрьмы при приемке нашей партии. Что же касается остального текста «Памятки», то, разумеется, я припоминаю его только приблизительно и в главных чертах.

«карантин». Официально, вводя его, начальство яко бы преследовало чисто-санитарные цели, стремясь предохранить тюрьму от заноса эпидемических заболеваний.

Но в действительности цель была иная: заключенного ставили в исключительно тяжелые условия под особым надзором специально подобранного персонала для того, чтобы вытравить из души арестанта дух непослушания и вымуштровать, выдрессировать из него покорного раба. С этой целью к нам приставили несколько свирепых тюремщиков, из которых особенно запомнился один бывший кантонист.

Эта маленькая фигура с большими усами вечно металась по коридору, звеня громадной связкой ключей и беспрерывно подбегая то к одним, то к другим дверям с визгливым криком: «Эй, ты, идол, куда засмотрелся? Отходи от окна! мать твою!.. 4-я камера, чего расшумелась?.. В карцер захотели?.. Смотрите, я вас живо!..».

На время «карантина» нас лишали выписки продуктов, прогулок, свиданий и переписки с родными; запрещалось громко говорить и смеяться, ходить по камере, курить. Для записных курильщиков последнее было особенно мучительно, — и надо было видеть, какое волнение охватывало всех, когда кому-нибудь удавалось раздобыть «бычок», и какое блаженство разливалось на лицах, когда драгоценный окурок переходил из рук в руки, изо рта в рот для очередной затяжки... Курили в углу, скрытом от надзирательских взоров, около парашки, — и тут же выпускали дым в отдушину...

Утром вставали рано: в 7 часов. Моментально обтянутые брезентом койки поднимались и уже не опускались до самого вечера. Наступала «поверка». Арестанты быстро застегивали бушлаты и становились в 2 ряда. Дежурный помощник пересчитывал выстроившихся, быстрым взглядом осматривая камеру и арестантов. Редкое посещение обходилось без строгих замечаний: — «Отчего посуда не на месте? Отчего пуговица не пришита?.. В другой раз посажу в карцер»... И так же быстро и шумно начальство удалялось, сопровождаемое свитой отделенных и младших надзирателей. Шесть раз в день полагалось петь молитву: для этого все население камеры (в том числе евреи и магометане) становилось перед иконой и должно было петь «Спаси, господи» и другие молитвы. Случалось, что певцы сознательно переиначивали и коверкали слова, произнося их при этом скороговоркой, и это было так забавно, что и поющие и непоющие с трудом удерживались от смеха...

Как строго администрация следила за выполнением параграфа третьего «Памятки» о пении молитв, видно из следующего. Как-то для дворовых работ была подобрана партия арестантов из 17 человек, большею частью евреев и поляков-католиков.

Перед вечером их собрали и погнали в особо назначенную камеру на 2-м этаже. Дежурный надзиратель приказал тотчас же «натянуть рамы». Занятая этой работой, которую нужно было закончить перед вечерней поверкой, камера решила отказаться от мало соблазнительного ужина, обыкновенно состоявшего из сухой плохо-проваренной каши. Кто-то среди шуток и возни с брезентами предложил и молитву вечернюю не петь. «Чего там, в самом деле!—сказал инициатор,—раз не ужинаем, значит и богу не за что молиться».—Камере эта мысль понравилась, и молитву не пели. На «саботаже» обратил внимание надзиратель, доложивший по начальству о небрежном отношении 5-й камеры к своим религиозным обязанностям. В результате—6 человек попало в карцер на 20 суток каждый.

Такая суровая кара взволновала каторжан, сидевших в одной камере с пострадавшими. На все лады обсуждался неприятный казус. Говорили, что уж если администрация решила прибегнуть к наказанию, то нужно было наказать всю камеру. Особенно возмущало неправильное включение в число наказанных двух евреев, которые уж во всяком случае не обязаны петь христианскую молитву.

Большинство склонялось к мысли, что здесь произошло недоразумение и что лучше всего поговорить с начальником. Для этой цели избрали делегацию из двух анархистов, Волкова и Меккеля.

Утром они вызвались к начальнику и под конвоем надзирателя направились в контору. На лестнице им встретился Гордов, с вопросительным выражением остановившийся на площадке. Надзиратель взял под козырек и доложил о желании Волкова и Меккеля говорить с начальником. Гордов окинул их строгим взглядом и почему-то обратил внимание на синие очки Волкова.

— Это что?—спросил начальник.—Кто тебе дал эти похабные очки?

— У меня больные глаза...

— А письменное разрешение есть?

— Доктор предписал... уже давно,—пролепетал растерявшийся Волков.

— Снять очки!—приказал Гордов безапелляционным тоном.

Надзиратель моментально подскочил к Волкову и буквально содрал их с носа.

После этого начальник повернулся к Меккелю:

— Ты по какому делу?

— У нас случился инцидент с молитвой,—ответил Меккель.

— Инцидент... Какой такой инцидент?—закричал Гордов.—Какие могут быть инциденты в моей тюрьме?..

Только в этот момент Меккель вспомнил, что слово «инцидент», как и все иностранные слова, изгнано из тюремного обихода и что этому вопросу посвящен специальный параграф в «Памятке каторжанина». Гордов между тем не унимался:

— Что значит инцидент?.. Переведи по-русски!

Меккель об'яснил значение этого слова и коснулся эпизода с молитвой, но разгневанный начальник не дал ему говорить:

— Ишь ты, какой предстатель!.. Я вам покажу, как отказываться от молитвы!.. Я тебе покажу «инцидент!»... В карцер обоих!..

II.

Тюремный день всегда начинался молитвой. Помолившись, каторжане приступали к чаепитию, совершаемому всегда «с чувством, с толком, с расстановкой».—Нам приносили кипяток и пайку черного хлеба, рассчитанную на целый день, но большую частью исчезающую под первым натиском арестантского аппетита. После чаепития арестанты принимались за уборку камеры и чистку посуды. Надзиратель из «кантонистов» был особенно требователен в отношении медной посуды.—«Чтоб блестело, как солнце!»—таков был постоянный наказ дежурным по камере. Эффект солнечного сияния достигался при помощи суконки и кирпичного порошка.

Из всех ограничений и запрещений, связанных с отбыванием «карантина», меня больше всего тяготила невозможность в течение дня пользоваться койкой.

Я пришел в тюрьму больным и разбитым, и понятно, порою хотелось прилечь. Но лежать запрещалось, и вот—приходилось перевозмогать себя и долгие часы высиживать в ожидании блаженного вечера. Порой усталость брала верх, и тогда я вытягивался на скамье где-нибудь в сторонке и оставался в таком положении 10—15 минут. Несколько раз это сходило благополучно, но однажды надзиратель увидел меня лежащим, доложил помощнику, и в результате—2-дневный «светлый карцер». Но именно в «светлом карцере» удалось, наконец, отдохнуть по-настоящему. Правда, меня держали 2 дня на голодном пайке; в камере не было ни скамьи, ни койки, но зато меня оставили в покое.

Я мог целыми часами лежать на полу в полном одиночестве, которое меня совершенно не тяготило. Я отделался сравнительно легким наказанием, но другие товарищи за такие же мелкие провинности попадали в темный карцер и на более продолжительный срок. В Смоленской тюрьме карцеры никогда не пустовали, и часто нехватало в них места.

Можно смело сказать: если карантин был чистилищем, то карцер можно назвать нижним кругом тюремного ада. Иные каторжане положительно «не вылезали» из карцера. Я вспоминаю одного такого карцерного завсегдатая, Кугеля. В первый раз он угодил на 10 суток за неумелую чистку медной посуды. По обычаям нашей тюрьмы, отбывшего наказание арестанта тотчас же приводили к начальнику, который прочитывал ему соответствующую нотацию.

Представ пред грозные очи самого Гордова, Кугель явил жалкий вид измученного человека, заеденного вшами и шатавшегося от слабости. Вши так немилосердно терзали его, что Кугель не утерпел и во время обычной назидательной речи стал ерзать и чесаться. Гордов призвал его к порядку:

— Как стоишь?.. Руки по швам!..

Кугель вытянулся, но через несколько минут, изнемогая от зуда, снова заерзал и провел рукой по спине. Вспыльчивый начальник разразился гневной филиппикой и в заключение отослал его снова в карцер — на этот раз на 20 суток. Но заключения несчастного Кугеля на этом не кончились. Вернувшись в камеру, Кугель решил повести энергичную борьбу со вшами.

Кто-то посоветовал ему вымазаться керосином. Для этой цели он налил из камерной лампы небольшое количество жидкости в стеклянку, которую поставил затем за окно. На беду, порыв ветра заколебал наружную оконную раму, стеклянка свалилась и — чуть ли не к ногам стоявшего внизу часового. Тот подобрал и отнес в контору. Произвели расследование, и Кугеля в 3-й раз отправили в карцер на 30 суток...

Впрочем, среди обитателей нашей камеры был один, не только избегавший карцера, но которого, вообще, администрация оставляла в покое. Это был солдат, осужденный за какое-то военное преступление уголовного характера, рослый детина с красным прыщеватым лицом, с мутным взглядом воспаленных глаз.

Он страдал резко выраженной манией преследования. Администрация почему-то считала излишним изолировать его, хотя он временами обнаруживал явные признаки психического расстройства. Лежа на своей койке в глубине камеры, он внимательно следил за всем происходящим.

Стоило кому-нибудь направить шаги в сторону его койки, и он тотчас же приподнимался с видом человека, готового защищаться. Особенно жутко чувствовалось его присутствие по вечерам, когда его настороженность и нервность доходили до последних пределов и когда малейшее движение соседа привлекало его болезненное внимание. В течение 2 или 3 дней его подозрительность сосредоточилась на мне. Заметивши, что

я о чем-то беседую вполголоса с товарищем, он решил, что этот разговор направлен против него; он подметил даже один мой жест в его сторону, который в его глазах свидетельствовал о моем намерении с ним покончить. Эта мысль прочно угнездилась в его больной голове. Он долго наблюдал за мною и, наконец, отозвал своего соседа в сторону и спросил его, правда ли, что я что-то против него замышляю? Сосед начал убеждать его в нелепости этого предположения и, повидимому, несколько успокоил его, но маниак все-таки продолжал на меня коситься. Мы заявили дежурному помощнику о необходимости его изолировать, но помощник недовольно ответил: «Куда я его уберу?.. Пусть посидит здесь!..» Все же, после повторных и настойчивых заявлений больного солдата убрали...

Но вот кончился «карантин». Меня перевели в другую камеру. Разрешили выписку продуктов на собственные деньги, переписку и свидания в установленных пределах. Каждый день на полчаса выводили на прогулку во двор в особый «круг», по которому надлежало медленно ходить всегда в одном и том же направлении и всегда парами на определенном расстоянии друг от друга.

Во время прогулок часто появлялся начальник, который проходил походкой расслабленного, опираясь на палку. Тюремный ритуал требовал, чтоб дежурный надзиратель отдавал команду: «Смирно!» Арестанты снимали шапки, выстраивались в два ряда и на обычное приветствие отвечали: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!».

Шапки снимались даже зимою, и с оголенными головами мы должны были стоять неподвижно до тех пор, пока начальство не исчезало из виду.

Я помню, как Гордов однажды рассвирепел, когда мы прокричали недостаточно дружно «здравия желаю». Он заставил нас несколько раз повторить эту сакраментальную фразу, но ответы наши его не удовлетворяли. Он все более горячился, кричал и в конце-концов приказал отвести весь состав камеры в «светлый карцер». Тут мы попали в учебу к самому свирепому отделенному, в течение 2 часов учившему нас правильному произнесению приветствия... В новой камере я оказался среди очень смешанной публики. Там были и матросы, участники «голового бунта». У одного из них, Иванова, все лицо и тело были покрыты прыщами. Он рассказал мне, что во время «голового бунта» он, как и многие другие, щеголял нагишом, и вот тогда-то, повидимому, и простудил кожные покровы, на которых выскочили прыщи. Его рассказ о «голом бунте», изобиловавший многими юмористическими подробностями, свидетельствовал о поразительной спайке и боевом духе политических, только-что вышедших из горнила революции. Но то было другое время. Тогда

еще мыслимы были бунты и борьба в тюрьме. В 1909—1910 гг. об'ективные условия значительно изменились. Большую роль в обезличении и укрощении тюрьмы сыграло совместное сидение политических и уголовных, к которым, конечно, применялся один и тот же режим. Для уголовных вопросы принципиального и идейного характера никакого значения не имели, и им, конечно, легче было мириться с унижением человеческого достоинства. Политические пользовались только одной привилегией: в то время, как уголовных порол, нас этому наказанию не подвергали, за исключением единичных случаев, когда речь шла о политических, осужденных по уголовным статьям. Я вспоминаю два таких случая. Одного из пострадавших звали Бандуркой¹⁾.

Будучи малосрочным каторжанином, он выпускался из тюрьмы на работы под наблюдением надзирателей. Как-то раз он перевозил дрова, сложенные у ограды кладбища, во двор тюрьмы. Воспользовавшись удобной минутой, когда надзиратель зазевался, Бандурка сделал попытку бежать, но не успел он удалиться и на 50 саженей от места работы, как надзиратель спохватился. Заметивши тревогу, Бандурка спрятался за дровами, где и был обнаружен. Бандурке за это дали 50 розог. В другом случае жертвой оказался все тот же злополучный Кугель²⁾. У него при обыске нашли зашитыми в брюках 71 рубль. За такое незаконное хранение сравнительно крупной по тюремному масштабу суммы Кугелю назначили 71 розгу, по одной розге за каждый рубль.

В нашей камере большинство состояло из уголовных, но к политическим они относились с уважением и, во всяком случае, без видимой вражды. Среди них было 2—3 «обратника» с громким прошлым: один судился за изнасилование девочки, другой—за разбой, третий—за подделку монеты и т. д.

С виду они совсем не были похожи на преступников. Все, за малыми исключениями, отличалось добродушием. Часто я с удовольствием слушал их трезвые рассуждения о жизни, о положении крестьянина. Мне вспоминается один из них, типичный волжский бурлак—человек с несомненным боевым духом и с какими-то, ему самому неясными, исканиями. Он органически ненавидел полицию и всякое начальство, сильно интересовался политическим террором и несколько раз возобновлял разговор со мной на эту тему. Как-то я рассказал об убийстве начальника главного тюремного управления Максимовича.

¹⁾ Анархист из г. Николаева, участвовал в вооруженном нападении на артельщика и убийстве городского. Умер на поселении.

²⁾ Анархист, судившийся за экспроприацию где-то в пределах Смоленской губ.

— Вот это я понимаю!—воскликнул мой уголовный собеседник,—я бы их всех туда же!... душа из них вон!..—Потом задумался и прибавил:—А как же она... которая убила?..

Я передал несколько подробностей о террористке Рагозинниковой. Уголовному трудно было себе представить, чтобы женщина решилась на такой смелый шаг. Но идея самопожертвования во имя общего интереса и во имя протеста против издевательств над заключенными была вполне доступна даже темному и исковерканному сознанию уголовных. Я не раз подмечал у них вполне отчетливое чувство солидарности и вполне осознанное стремление «не итти против товарищей». Всякий арестант, несогласный с большинством и выдающий администрации арестантские «секреты», трактовался ими, как «сука», «лягавый», достойный презрения. В Смоленске особой популярностью пользовался типичный уголовный «Иван»—Лишневский, прославившийся убийством в стенах тюрьмы одного из «лягавых». Должен, однако, сказать, что на-ряду с такими общественными задатками меня часто поражало бахвальство уголовных своими былыми, далеко не симпатичными подвигами, их склонность к частым ссорам и, вообще, неустойчивость психики. Для уголовного характерны частые переходы от добродушия к злобе, от флегматического спокойствия к бешенству, от рассудительности к полной нелогичности и бессвязности речи. Иной раз вспыхнет недобрый огонек, и уже видишь, как грубая и жестокая стихия завладевает этой темной душой и толкает ее к самым необузданным поступкам. И это—тот же самый человек, который часом раньше казался вам образцом добродушия и так душевно беседовал о самых симпатичных материях. Я часто с изумлением останавливался на разительных контрастах и причудливом совмещении добрых и злых начал у большинства уголовных. Помню такой случай. Сидел у нас один уголовный, старый волк, которого все называли Тимохой. Вообще незлобивый по природе, он с особой нежностью относился к голубям, часто подлетавшим к окнам поклевать хлебных крошек. Любимым времяпрепровождением Тимохи была возня с голубями. Бывало, целой стайей слетаются они по его зову «гуль-гуль-гуль» и садятся на подоконник. Тимоха заранее подбирал крошки со стола, а подчас жертвовал часть своей пайки, и когда голуби прилетали, старик кормил их, называл ласковыми именами и поглаживал по спинам. Впрочем, не только Тимоха, но и другие «сокамерники» точно также баловали и кормили гулек. Невольно вспоминается известное изречение Аксакова, вошедшее, кажется, во все детские хрестоматии: «русский народ любит и ценит нравственные качества голубей»... Тимоха же не только забавлялся возней с этими кроткими птицами, но и отдавал им весь запас своей душевной теплоты и ласковости... Однако,

это не помешало ему в один прекрасный день зарезать пару, поджарить (или, вернее, прокоптить) их с помощью камерной лампы и устроить себе вкусное блюдо в дополнение к скудному тюремному обеду. Кто-то заметил по этому поводу:

— Что же ты, Тимоха, любить-то голубей любил, а все-таки передушил их?»

— Ну что-ж!..—философически ответил Тимоха—дело житейское! Человек человека душит, а голубю-то тоже не век ворковать...

Этот случай мне запомнился, как яркий пример уголовного реализма, сочетающего без малейшего разлада несомненную доброту с какой-то первобытной безжалостностью. Сюда присоединяется и признание «права сильного», как высшего закона жизни. И как Тимоха не сомневался в своем праве на голубиное мясо, точно так же для уголовного нет ничего удивительного и возмутительного, что одни люди сажают в тюрьму других и третируют их, как рабов и париев.

Не этим ли об'ясняется та спокойная покорность и почти беспрекословное подчинение всем требованиям начальства, которое так характерно для всей уголовной среды в целом? Подобное отношение к тюремной действительности позволяет им также сохранять всегда почти веселое настроение и не предаваться мрачным размышлениям.

Уголовный редко хандрит и еще реже впадает в отчаяние. Разумеется, на каторге я наблюдал и другие примеры, ярко свидетельствовавшие о душевной драме, переживаемой иными уголовными, но это, конечно, только единицы. Помню одного такого страдальца—молодого парня, отличавшегося нелюдимой серьезностью. Однажды он затосковал: перестал ходить на прогулку, еле прикасался к пище, ни с кем не разговаривал. Причина этой тоски так и осталась неизвестной, но в короткое время парень положительно извелся. И вот как-то ночью слышу шум в камере, расположенной напротив (я тогда уже находился в одиночке). Моментально соскакиваю с койки и подбегаю к волчку. Вижу: бегут надзиратели, один злобно бранится. Из донесшихся до меня обрывков брошенных на ходу фраз догадываюсь, в чем дело. Оказалось, что затосковавший уголовный повесился. Кто-то в камере это заметил. Повесившегося вытащили в обморочном состоянии. Сокамерники начали приводить его в чувство, вылив целое ведро воды. Когда арестант несколько пришел в себя, надзиратели выволокли его в коридор и начали бить. Один из них особенно усердствовал и все приговаривал: «Вешаться вздумал, сволочь!.. А того не подумал, что с меня же взыщут... мать твою!..» Озверевший надзиратель нанес ему несколько ударов по голове такой силой, что все лицо избиваемого покрылось кровью. После этой экзекуции несчастного потащили в карцер...

III.

В общей я просидел недолго. Вечное нервное напряжение, скверные гигиенические условия в переполненной камере, в близком соседстве с нечистоплотными уголовными, с неизбежными вшами и неизбежной парашей,—все это губительным образом отразилось на моем здоровье.

С другой стороны, хотелось побыть одному, хотелось заняться и почитать. Я заявил тюремному врачу о моем желании перейти в одиночку, но так как желающих было слишком много, то прошло немало времени, пока получилось соответствующее распоряжение.

Хорошо помню первое впечатление, когда тяжелая дверь одиночки открылась.

Предо мной предстала такая картина: на койке лежит— не человек, нет! а скорее какой-то призрак с обтянутыми кожей костями. Около койки на табурете — нетронутый обед и стеклянка с лекарством. На полу рядом с койкой—одна портянка и серый арестантский картуз. Скудный свет, падающий сверху сквозь железную решетку окна... При моем появлении призрак приподнялся и буквально впился в меня расширенными зрачками блуждающих глаз. Я остановился, смущенно оглядывая убогую и немного неуютную обстановку одиночки. Заметив пристальный не то выжидающий, не то испуганный взгляд лежащего, я дружелюбно и успокоительно говорю:

— Здравствуйте, товарищ!.. Мы будем с вами вдвоем... Вас разве не предупредили?..

Новый сожитель сперва промолчал, а через минуту внезапно схватил свой матрац и с неожиданной быстротой перетаскил его в угол камеры...

— Вот койка... Вам лучше,—пробормотал он и лег на новое место. Я начал безрезультатно убеждать его, что он напрасно это сделал и должен вернуться обратно на койку, которая ему нужнее, чем мне. Начинаю размещать свои вещи и приводить камеру в порядок. И за каждым моим движением, за каждым шагом неотступно следовал упорный взгляд этого странного человека. Вскоре я узнал, что одновременно со скоротечной чахоткой в нем развилась мания преследования. Было жутко смотреть на эту фигуру гигантского роста с еще заметными следами когда-то могучего телосложения. Говорили, что он был осужден на каторгу за вооруженное нападение. По национальности—латыш, он сначала поражал всех своею физическою силой, но потом как-то сразу «сдал», сломился и начал быстро таять. Его перевели в одиночку, и хотя дни его были очевидно сочтены, все же с него, как с «вечника», кандалов не сняли. Так до последнего дня своей жизни и оставался он

в кандалах. Ничто не интересовало этого обреченного. Ночью и днем он лежал на матраце, не снимая с себя платья, не умываясь, даже не стряхивая бесчисленных полчищ вшей. Конечно, он и меня наградил этими неуловимыми мучителями, в борьбе с которыми я провел не одну бессонную ночь. Угасал он не столько от болезни, сколько от истощения; отказывался от пищи. Мне приходилось подолгу его уговаривать проглотить хоть немного каши или стакан молока. Таких же усилий стоило убедить его умыться—опыт, который он проделал только однажды и упорно отказывался повторить. Медицинская помощь в лице тюремного фельдшера ему оказывалась редко: фельдшер забежал на одну минутку, оставляя по наитию, очевидно, то микстуру, то порошки. Было бесконечно жаль этого большого ребенка, умиравшего безропотно и безответно, точно ягненок. Я обратился к врачу и указал на срочную необходимость поместить больного в тюремную больницу. Только после повторных настояний умирающего латыша перевели в лазарет. Я и сейчас вспоминаю его последний взгляд при прощании—жалкий и покорный, взгляд жертвы, идущей на заклание. На третий день он умер.

Вскоре ко мне перевели из соседней одиночки с-ра Н. Воронина, проводившего в бурное время восстаний в Севастополе партийную работу в сухопутных частях и осужденного военным судом на каторгу. Общительный и подвижной, с большим запасом юмора и жизнерадостности, он был для общежития незаменимым товарищем. Он редко поддавался мрачным настроениям, но уж если затоскует, то часами, а иногда и днями от него не услышишь ни слова. В такие периоды он обыкновенно мерил своими упругими шагами камеру, а я, лежа на койке, увлекался чтением Декарта или Спинозы. Ежедневно он ходил в переплетную мастерскую, где работал со дня ее основания. Оттуда он часто приносил книги, которые отдавались в переплет частными заказчиками. В этой мастерской работали также Кофф, Черкунов, Ройх и другие политические. Кроме этих товарищей, в одиночках в мое время находились: Рогальский (врач из Петербурга, по процессу о подготовке царевубийства), Лишев (офицер, по делу киевских сапер), Ширяев (матрос, участник бунта на крейсере «Память Азова»), Кродер (латыш, один из руководителей восстания в Прибалтийском крае), Ефимов (ныне завед. одесским здравотделом), Габель (студент), Сорокин (юный с.-р. из Полтавы, вскоре погибший в тюрьме) и многие другие. Больше всего я сблизился с Ширяевым и Лишевым, при чем с первым из них мы вели совместные занятия по вопросам теоретического обоснования партийной программы. Несмотря на строгий режим, Ширяев как-то умудрялся во время уборок или прогулок проскакивать в мою камеру,

и здесь мы целыми часами копались над Михайловским. С Лишевым меня особенно сблизило наше совместное участие в «судебно-следственной комиссии» по делу Быковского. «Вечник», осужденный по делу о Горловском восстании, Быковский исполнял в тюрьме обязанности регента церковного хора, что само по себе шло вразрез с этическими понятиями политических. Пользуясь привилегиями и значительной свободой передвижения, он часто посещал тюремную контору и, повидимому, информировал администрацию о наших настроениях и замыслах. Товарищи обвинили Быковского в провокации и доносах начальнику. Когда старик Кродер, сидевший в одной камере с Быковским, разоблачил его предательскую роль, некоторые были так возмущены поступками, что решили его убить и чуть было не привели свой план в исполнение. Когда же первый порыв всеобщего возмущения несколько улегся, мы решили избрать 3-членную комиссию для разбора пред'явленных ему обвинений. В эту комиссию вошли Лишев и я. Третьего не помню. Мы допрашивали свидетелей и самого Быковского во время прогулок. Быковский оправдывался отсутствием провокационных намерений и «тонкой политикой», которую он проводил, по его словам, в отношении администрации. Но—«где тонко, там и рвется»...

В своей резолюции судебно-следственная комиссия дала надлежащую оценку этой «тонкой политике», в которой были все элементы предательства и, признавши Быковского провокатором, об'явила ему строгий бойкот.

Резолюция долгое время на все лады обсуждалась тюрьмой и в общем была принята, как должный акт справедливости.

На-ряду с Быковским, зловещею тенью встает и другая фигура, разоблаченная лишь в последнее время—фигура Ройха¹⁾.

В те времена этого маленького сутуловатого человека, в очках, с тихим голосом, с робкими, неуверенными движениями, никто не замечал и, конечно, никто и не догадывался даже, что кроется в этой темной душе. Он стоял как-то в стороне, в наши внутренние каторжанские дела совершенно не вмешивался. Угрюмый и молчаливый, он своим покорным видом напоминал запуганного обывателя, вся забота которого сводится к тому, чтобы не навлекать на себе недовольства администрации. Я знал, что Ройх—анархист-коммунист, участник нескольких экспроприаций, но его участие в этих делах мне представлялось случайным. Он сидел в одной из нижних одиночек, но его фигура часто мелькала и в нашем, втором этаже. Иногда я подзывал его к «волчку» и спрашивал:—Ройх, что слышно?—

¹⁾ Служил в охранке. Расстрелян по приговору одесского губсуда в августе м-це 1924 года.

На что следовало неизменно:—Ничего особенного, работаем.—Он работал в переплетной, и это давало ему право часто появляться в коридоре. Насколько мне помнится, другими привилегиями он не пользовался. Даже наручники он носил, как и другие вечники, и только на время работы ему позволяли их снять.

Впрочем он скоро открыл «секрет», как вскрывать затвор наручников. Однажды подходит ко мне Лишев и сообщает, что готовится побег двух вечников, которым нужно в этом деле помочь. Оказалось, что речь идет о Ройхе и Сафьяне, сидевших в то время в одной камере. Связанные одним процессом и одною участью, с той только разницей, что один был предателем, а другой, как потом выяснилось, его жертвой,—они редко разлучались и, как казалось, жили дружно (только впоследствии обнаружили раздоры между ними). Лишев рассказал, что Ройх и Сафьян предполагают перепилить решетку и затем перелезть через стену при помощи «кошки». Я понимал, что это предприятие в условиях Смоленской тюрьмы обещает мало шансов на успех, но, с другой стороны, была понятна и готовность пойти на такой риск со стороны людей, обреченных на беспросветную перспективу вечной каторги.

Было решено помочь им: собрали немного денег, приобрели пилку и костюмы и в строжайшей тайне передали по принадлежности. Но в тот же день в камере Ройха был произведен обыск, во время которого надзиратели обнаружили и забрали приготовленное для побега снаряжение. В тот момент мы несколько не удивились, так как обыски в одиночном корпусе были обычным, почти ежедневным явлением. Теперь, когда открылась предательская деятельность Ройха, невольно является мысль, что и здесь, и в этом случае тоже не обошлось без его предательской руки.

Эпизод с Ройхом и суд над Быковским ясно свидетельствуют о неразрушенной солидарности политических и о том, что, несмотря на все преграды, жизнь в нас все-таки не угасала, не угасал и моральный дух. В одиночках мы все-таки не так обезличивались, как в общих камерах. По существу же и там, и здесь режим был одинаковый. Наши надзиратели по грубости и придиркам ничем не уступали надзирателям главного корпуса. Среди них только один выделялся своим сравнительным добродушием. Звали его Василием Ивановичем. Этот старый служака при всей своей безграмотности чуял в политических какой-то особый ему симпатичный мир, не совпадавший с обычным представлением о преступниках. С уголовными он обращался довольно бесцеремонно. Порой нельзя было слушать без смеха его нотации и угрозы всеми казнями и скорпионами: «Я тебя в карцере сгною!—исступленно кричал он,—запорою до смерти!.. Со мной не шути!.. Я и застрелить могу и отвечать не буду, даже

награду получу... Ты у меня смотри, дрянь ты этакая!». А потом он подходил к моей камере и шопотом говорил в «волчок»:

— Вы думаете, я это всерьез? Я это так, для страху только.. Я и курицы зарезать не умею, у меня всегда жена режет, а я отворачиваюсь, видеть не могу—...

С политическими Василий Иванович держал себя гораздо приличнее, хотя и пытался порой припугнуть. Он часто вступал с нами в конфиденциальные беседы, жаловался на тяжелую службу и недостаточное жалованье. У него была неодолимая потребность кого-нибудь ругать. В зависимости от настроения, сегодня доставалось уголовным, завтра—политическим, правительству, полякам или евреям—и особенно часто его жене. Иногда он оказывал нам немаловажные услуги, предупреждал о предстоящих обысках. И так как, в случае обнаружения у нас запрещенных вещей, в первую очередь взыскивали с дежурного надзирателя, то между нами установилось такое соглашение: предупреждая о предстоящем обыске, он временно забирал у нас ножи, чернила и прочую «контрабанду», а после обыска все это возвращалось обратно. Впрочем, Василий Иванович продержался у нас недолго: узнала ли администрация о его добрых отношениях с политическими, или это произошло случайно, но, во всяком случае, его вскоре убрали и перевели куда-то в охрану цейхгауза.

IV.

В то время как в «Тюремном Вестнике» шла полемика о преимуществе американской пенитенциарной системы перед бельгийской; в то время как в Государственной Думе обсуждали и утверждали необычно разбухшие сметы по тюремному ведомству,—в это время смоленские «специалисты» чисто доморощенными способами исправляли испорченную природу преступников. И, конечно, не в пример американской или бельгийской, русская система давала «наилучшие» результаты в смысле «перевоспитания» и искоренения преступных привычек. Результаты этой системы не замедлили обнаружиться прежде всего на здоровье заключенных необычайным увеличением туберкулезных заболеваний. Как же лечили в Смоленской тюрьме?

Во главе медицинской части сначала стоял военный врач, мало интересовавшийся тюрьмой и, вдобавок, определенный монархист по убеждениям. Ему помогал такой же махровый черносотенец—фельдшер. Больных лечили не столько лекарствами, сколько строгим внушением. Питание, воздух, гигиенические условия содержания больных,—этих вопросов тюремный врач никогда даже и не поднимал. Было приготовлено известное количество порошков

и стклянок, которые и распределялись между больными. Больница служила только временным этапом на пути к кладбищу. Постановка медицинской помощи резко улучшилась только тогда, когда на смену военному врачу пришел д-р Эйхгольц.

Это был человек несомненно добрый и гуманный, ясно сознававший свой человеческий и врачебный долг. Он внимательно выслушивал больных и, повидимому, входил в их положение. Когда это представлялось возможным, заключенные переводились на больничную пищу. Туберкулезным щедро отпускался рыбий жир. В его кабинете стояла бочка селедок и корзина лимонов, и каждый больной обязательно снабжался этими продуктами. Один каторжанин мне в шутку говорил, что лимоны и селедки возбуждают в нем такой аппетит, что ему трудно дожидаться обеда или ужина. Д-р Эйхгольц заботился также и о чистоте воздуха: он изобрел и применял в тюрьме какую-то вентиляционную машину, которая перетаскивалась из одной камеры в другую. Заключенные должны были сами действовать рычагом, приводившим в движение целую систему поршней, вытеснявших плохой воздух наружу. Некоторых каторжан эта работа утомляла. Особенно хорошо д-р Эйхгольц относился к политическим. Он часто заходил в мою одиночку, садился на койку и заводил разговоры на разные темы. По своим убеждениям он, повидимому, примыкал к тогдашним левым октябристам. Как-то он жаловался мне на крестьян, которые разорили и отчасти сожгли его смоленское имение. В другой раз, при разговоре в больнице с несколькими политическими, он рекомендовал нам не возиться с «ковчегом», в котором хранятся наши принципы, а лучше дать ему возможность лучше использовать свою «кассу благодати» в интересах нашего здоровья. Я намеренно останавливаюсь на этих фактах для того, чтобы сопоставить их с оценкою личности и деятельности д-ра Эйхгольца, встреченную мною в изданных недавно воспоминаниях Вороницына. Правда, эти воспоминания относятся к позднему периоду, но все же я считаю помещенные там восторженные отзывы об этом враче преувеличенными. Вряд ли уместно назвать д-ра Эйхгольца «вторым Гаазом», как делает это Вороницын. Ведь в деятельности Гааза были элементы почти апостольского подвижничества. А д-р Эйхгольц не выходил из рамок либеральной филантропии. Конечно, он сделал немало добра, но его вентиляционные машины и лимоны отдают несомненным донкихотством. Докторское вмешательство мало внесло изменений в санитарное состояние тюрьмы. По-прежнему заключенные жили в антигигиенических условиях. По-прежнему наши редкие посещения бань были сплошной гонкой, а получасовые прогулки не успевали освежать наших легких. И потому туберкулезные больные продолжали таять с преж-

нею неумолимою наглядностью. Разрушительное действие тюрьмы сказалось и на моем организме. Я настолько ослаб, что перестал даже выходить на прогулку, и погрузился в полнейшую апатию. Порой казалось, что дальнейшее существование не имеет смысла...

В один из таких мрачных моментов неожиданно пришло известие, что в скором времени мне предстоит отправка в вольную команду. Сначала как-то не верилось в возможность моей жизни к лучшему, но потом мысль эта стала казаться все более и более реальной. Я несколько встрепнулся и стал готовиться к этапу. Впрочем, приготовления были очень несложны и сводились к двум-трем предметам: кандальный пояс с подкандалниками, небольшая сумма денег и несколько партийных адресов в Иркутске «на всякий случай».

И вот желанный день наступил.

Вызвали на этап. Я быстро собрал вещи, за исключением книг, уносить которые не разрешалось. Быстро попрощался с товарищами, подбежавшими при моем появлении к «волчкам», каждый со своим напутствием. Иные давали и поручения.

Жаль было расставаться с друзьями, но впереди мерещилась и манила свобода,—правда, в образе «вольной команды» и Сибири, но все же свобода. При этой мысли какое-то радостное возбуждение охватило меня. Повели в баню. Приказали переодеться. Помню, как лихорадочно спешил я закончить свой туалет, точно боялся опоздать или потерять лишнюю минуту.

«Старшой» уже ждал меня с кандалами. Он сам заковывал меня и так неудачно проделывал эту операцию, что заклепки ломались и приходилось их менять. Это сильно нервировало. Внезапно во время заковки я почувствовал сильнейшее головокружение, вероятно, от слабости. Я чуть было не упал, но стоявший подле надзиратель поддержал меня. Когда весь ритуал был окончен, я обратился к «старшому» скорее с вопросом, нежели с просьбой: нельзя ли мне в виду слабости, проехать до вокзала на подводе. На это мне давало законное право примечание в моем статейном списке, что к пешему передвижению я, в силу своего болезненного состояния, негоден и нуждаюсь в подводе.

Уклончивый ответ «старшого» я принял, как отказ, и уже больше об этом не думал. Между тем именно этот пустяк послужил искрой, вызвавшей через несколько минут неожиданный взрыв начальнического гнева. Меня уже передали в руки конвоя, проверившего и опросившего меня по статейному списку,—с этого момента, по правилам конвойной службы, право распоряжения мною переходило от тюремной администрации к конвойному начальнику. Но едва я вошел через внутренние ворота в узкий дворик конторы, как заметил на площадке лестницы начальника, вся фигура которого и особенно лицо свидетель-

ствовали о необычайном возбуждении. «Старшой», повидимому, передал ему мой запрос о подводе.

—Тебе что, подводы захотелось?..—заорал Гордов, захлебываясь от злобы,—законы указываешь?!... Да я тебе такой закон пропишу, что век помнить будешь! Забыл, что ты арестант? Барина корчить захотелось?.. Я тебе покажу, как требовать!.. Скотина этакая!.. Сволочь!..

Я хотел было оправдаться, возразить, что я никакого «требования» не пред'являл, но Гордов и слушать не хотел. Я стоял бессильный и уничтоженный, не понимая истинной причины его чрезмерного раздражения, не зная, как укротить, как задержать хоть на секунду эту неожиданно сорвавшуюся лавину бешенства и слепой ненависти...

— Мерзавец! Отчего халат не застегнут? Отчего портянки высовываются? Как стоишь? Стоять не умеешь!.. Забыл, где находишься? Надзиратель, научи его стоять!.. Отменить этап!.. В карцер его!..

Повели в карцер. Перед дверью отняли все вещи и предложили раздеться. Я остался в одной сорочке и в кандалах. После недавнего радостного под'ема меня снова охватил мрак и безнадежность. Я почувствовал себя жалким парием, жалкой игрушкой и забавой каких-то темных сил... Нет, я ничего не чувствовал и ни о чем не думал: мое чувство притупилось, мысль перестала работать. В таком оцепенении я пробыл неопределенно долго, пока дверь карцера открылась и мне всунули пайку черного хлеба. Тогда я очнулся и явственно осознал, где я нахожусь. Цементный пол и кандалы обжигали меня холодными прикосновениями. Загнанный в душную клетку, среди испарений параши, я стал ощущать недостаток воздуха. Я прильнул к «волчку» и жадно втягивал в себя воздух из коридора. Понял, что ничего в сущности особенного не случилось. Нет, я не забыл, что я пленник и каторжник, что в тюрьме есть начальник и есть карцер...

Но если я этого не забыл, то зачем же обольщать себя несбыточными надеждами?—Глупец! Одно только слово о возможности освобождения, один только намек, брошенный в тюрьму,—и уже сердце забилося от радости, и уже мечта победила трезвого мыслителя... Нет, довольно тешить себя миражами, довольно вопрошать будущее и ждать от него чудес! Будь, что будет!—вот единственная мудрость, которая не обманет каторжного раба...

Через 3 дня меня снова повели в контору и снова передали в руки конвоя—на этот раз без всяких инцидентов.

Я. Зильберштейн.

В Метехском замке.

Протекли три месяца карцера, застенка, пыток и издевательства над личностью в комендатуре тифлисского генерал-губернатора. Наконец, объявили, что сведут в баню, а потом в Метехский замок, что мне казалось чуть ли не освобождением. Увижу товарищей, книги будут. Это случилось так неожиданно, что я и не обратил внимания на подмен моей шляпы и невыдачу отобранных денег.

— В замке вас раскуют,—объявили при отправке.

В сопровождении двух солдат-стрелков я в полдень пешком направился в Метехский замок. Из вещей нес только подушку, да на шнуре из частуха—подвязанные к поясу кандалы. Выйдя из узкой Армянской улицы и перейдя мостик через Куру, мы вышли на Пески. Перед нами возвышался корпус «нового здания». Повернув по Метехскому переулку, мы прошли мимо него и остановились у железных ворот, охраняемых часовым.

Метехский замок в прошлом—резиденция грузинских царей, стены его выдерживали неоднократные осады персидских войск.

Я почувствовал, что жизнь осталась позади... Впереди только тюрьма—и на многие... многие годы.

В Метехском замке в это время царил «конституционный» режим. Институт старостата хотя и не был утвержден губернатором, но фактически существовал, и начальнику тюрьмы с ним приходилось считаться. Я с конвойными вошел во внутренний двор. Товарищи приветливо кивали мне из окон. В конторе замка уже ожидал староста. В замке меня расковали, и я с ним направился в одиночный корпус. Согласно сопроводительной бумаге, я был помещен в одиночке.

Тюрьма была переполнена, и одиночное заключение было в сущности своего рода привилегией. На другой день я уже сидел вдвоем. Был у доктора, который нашел у меня сильное малокровие и расшатанную нервную систему. Мне были назначены массаж и усиленное питание—до вина и молока включительно.

В стенах Метехского замка жизнь протекала весьма своеобразно, здесь был особый мир со своими запросами, нуждами и чаяниями. Вступающий в тюремный двор был отрезан от внешнего мира. Но человек—существо общественное, привыкает ко всему.

На новичка тюрьма с ее своеобразными кодексами и моралью действует угнетающе, и только много спустя он сживается с ее миром, ее средой. Метехский замок был следственной тюрьмой, и свиданиями политические пользовались в неделю два раза,—обычно по средам и пятницам. Свидание происходило здесь же в одиночном корпусе—по средам в присутствии жандармов, по пятницам—городовых. Городовые внимательно следили за тем, чтобы не передавались запрещенные предметы. Надзиратели же оказались не столь строги,—и я по пятницам получал книги (газеты выписывали через контору тюрьмы), продукты, цветы, белье и проч. Частые свидания поддерживали непосредственную связь с волей. Мы, партийная публика, даже пытались вести некоторую работу в подпольных организациях на воле, писали воззвания, прокламации, статьи для газет, даже кое-что редактировали.

Все жгучие и злободневные вопросы там, за стеной, отзывались и на тюрьме. По мере угасания политического под'ема в обществе, по мере отхождения политической волны,—массы в силу утомления начали пассивно относиться к политической жизни, выдвигая вопросы иного порядка—проблему «лиги свободной любви» и т. д.

Все эти вопросы были злобою дня и у нас, и мы увлекались арцыбашевским Саниным, Вейнингером, А. Форелем и т. п. вещами, читали много, жадно и без разбору.

Наряду с обсуждением злободневных вопросов, чувствуя в своих знаниях пробелы, мы торопились пополнить их учебой. Именно торопились. Можно было наблюдать, как товарищи запирались в камерах и не выходили на прогулку—зубрили, делали выписки и т. д. Иногда появлялось на стене коридора об'явление от имени коллегии старостата, что такой-то товарищ прочтет доклад на тему «Индивидуализм, как фактор революции» или «Материализм и религия», «Половой вопрос», «Женщина, как мать и общественный работник», а иногда—просто разбор какого-либо нашумевшего сочинения. Иногда целые дни посвящались тому или иному писателю, общественному деятелю или событию. Кружковщины почти не было.

Редкие книги читались на собрании всего корпуса. Помню, одной из таких была книга Троцкого «Туда и обратно», вокруг которой завязался даже спор: своевременно ли указал автор путь и средства своего побега и т. п. Интересно отметить еще следующее явление, характеризующее эпоху упадка революционного духа. Реакция все нагледела и нагледела, и общество занима-

лось пустяшными вопросами, создавало, кроме «лиг любви», общество изучения психологии и философии от Платона до Соловьева, обывательские кружки, куда входили дамы «света», офицеры гвардии, наместники и солидные мужи именитой интеллигенции.

В тюрьме стали модными темами вопросы индивидуализма, разрешение коих доходило до обоготворения *homo sapiens*; М. Штирнер с его «Единственный и его достояние» читался нарасхват, Ф. Ницше также был в моде, хотя его читали мало, Пшибышевский ходил из рук в руки, а среди кавказцев анархист да еще индивидуалист был почетным званием. Даже уголовная публика нередко наряжалась в тогу яркого индивидуализма, доходившего до хулиганства.

Однажды среди политической публики поднялась суматоха, начали прятать нелегальщину и прочие подозрительные вещи. В тюрьму ввалил целый отряд вооруженных городских. Казалось несколько странным, что обыскивать тюрьму — и, конечно, политических — будут городовые, а не жандармы. До этого мы видели один жандармский налет, и жандармы тогда унесли с собой трофеи — мимиограф, на котором мы печатали тюремный журнал, и несколько номеров последнего. В данном случае причина посещения замка городовыми вскоре выяснилась: обыск был в кухне, тюремной конторе и на дворе чинов тюремной администрации, а уголовные шныряли по тюрьме и предлагали политическим схоронить куски шелка и т. п. В городе ограбили магазин, и вещи свезли в тюрьму. Сыскная полиция напала на след. И вот, там, где работали в тюрьме уголовные, и был произведен обыск. В кухне рвали полы. На дворе администрации разворочали дрова, осмотрели квартиру одного помощника. Ничего не нашли, как тогда говорили. Вещи были на квартире начальника тюрьмы, штабс-ротмистра Соболевского, имеющего золотое оружие за храбрость и т. п. У него, конечно, обыска не было.

При Соболевском тюрьма была не то что «развинчена», но и прямо распущена. Уголовные чувствовали себя господами положения. Все же до полного хозяйничанья они дойти не могли — мешали политические. «Верхи» уголовных это понимали и старались установившегося «мира» с политическими не нарушать. Между нашим старостатом и верхами уголовных состоялось неписаное соглашение, по которому уголовные не должны ни грабить, ни оскорблять политических, а политические, в свою очередь, не будут вмешиваться во взаимоотношения уголовных. Несмотря на простоту и краткость, договор обоими сторонами постоянно нарушался. Политические не могли допустить физического насилия над малолетними, насилия и ограбления попавшего в тюрьму хотя и по делу уголовному, но не профессионала. Это считалось, по мнению уголовных, вмешательством в их дела.

Нарушения договора уголовными происходили почти каждый день. Полуголодная воровская шпана не могла не красть хотя бы продуктов. Похищения совершались даже в конторе тюрьмы, во время приемки арестованного. Если его приводили в тюрьму с представляющими ценность вещами, немедленная кража была неминуема. Практиковались всякие приемы: например, возьмут унесут вещи яко бы в камеру, а на самом деле тащат к себе, и пока пострадавший сообразит, в чем дело, от вещей останется только печальное воспоминание. В бытность мою старостой был такой случай: привели одного товарища с этапом из Керчи, и пока его ввели в книгу бытия тюремного мира, пришел молодец, взял вещи и на вопрос «куда?», скромно ответил—«в корпус». Надзиратель, стоящий на посту у дверей конторы, подтвердил это. Когда заключенного привели в политический корпус и он узнал, что никаких вещей сюда не приносили, он обратился в старостат с просьбой выяснить участь унесенного. По пред'явленному мною к уголовному старостату требованию, вещи были возвращены за исключением части белья, которое было надето полунагой шпаной. Возвращавшие вещи говорили:

— Вам жалко тряпок. Где же нам брать денег, хотя бы на сахар? Мы ничего и ни от кого не получаем, только и нашего, что украдем у кого богатого. Мы знаем его еще по Керчи,— у него добра хватит.

Всякий раз, по мере раскрепощения тюрьмы, часть обязанностей административного характера перекладывалась на старостат. Бывали моменты, когда всю тюрьму можно было прибрать к рукам, что значило или улучшить положение заключенных, как полагали некоторые, или кое-кому взять на себя функции добровольных тюремщиков и тем самым создать весьма скандальное положение. В конце-концов к захвату тюрьмы отнеслись отрицательно и решили дальше старостата не итти. Хотя начальник тюрьмы и просил дать из среды политических писарей, счетоводов и других технических работников, но получил решительный отказ. Вскоре правильность позиции, занятой нами, вполне оправдалась. Если администрация попросту хотела использовать зря болтающихся по тюрьме способных людей, то для тюремного надзора это казалось передачей некоторых функций управления выборной коллегии из заключенных. Старые надзиратели, имевшие золотые и серебряные медали за выслугу пятнадцати и двадцати лет, самые ярые противники раскрепощения тюрьмы, выступили открытыми врагами проектируемых новшеств. За последнее время участвовали подготовки к побегам, и для старых тюремщиков всякое послабляющее нововведение казалось весьма опасным орудием в руках заключенных, серьезно угрожающим их благополучию. Но как ни странно, за время установившихся свобод ни одного случая удавше-

тоса побега не было. Дело в том, что в замке отбывали сроки наказания и малосрочные, пользующиеся правом хождения с надзирателем в город и домой, и подследственные террористы, которым угрожала петля. Все это смешивалось в одну тюремную массу, все было обо всем осведомлено и всегда находились добровольные информаторы и... побеги на самом интересном месте проваливались.

Из многих случаев подготовки к побегу расскажу один. Из губернской тюрьмы привели в больницу Метехского замка приговоренного к смерти. Конечно, заключенные его скрыли. Когда к вечеру администрация тюрьмы обыскала камеры, среди заключенных циркулировал слух, что «смертник» бежал через стену больничного двора. Все же в течение ночи камеры и коридоры оставались под бдительным наблюдением тюремного надзора. К утру у каторжан был произведен тщательный обыск и сорван пол, где и был обнаружен «смертник». Это заставило администрацию принять энергичные меры к обнаружению подготовляемого побега.

«Смертник» был уведен в губернскую тюрьму и казнен в ту же ночь.

Администрацией тюрьмы снова был сорван пол в камере, где обнаружен был «смертник», и обстукиванием сводов и стен обнаружили в кирпичной стене уже подготовленный и замаскированный подкоп, ведущий в закрытую типографию замка. Через типографию можно было свободно выйти на улицу, что во время свидания не составляло никакого труда, так как прикрытием могла служить публика, стоящая толпой в ожидании пропуска на свидание. В этот раз готовились уйти приговоренные на разные сроки каторги красносотенцы, преимущественно крестьяне-грузины.

О подкопе знали немногие. Провал его сваливали на старосту уголовных. На этой почве происходили стычки между красносотенцами и уголовными, после которых обе стороны готовились к «бою».

Красносотенцы запасались затесанными кольями, уголовные заготовили ножи. Администрация тюрьмы, конечно, о назревавших событиях знала, но никаких предупредительных мер не принимала, ибо столкновение это входило в ее расчеты.

Вмешательством политических кое-как удалось предупредить общетюремную свалку. В результате авторитетного выступления члена первой Государственной Думы, соц.-демократа Исидора Рамишвили, уважаемого всем населением, уголовные и красносотенцы «оружие» сложили, затаив злобу друг на друга, которая и прорывалась время от времени в избиениях отдельных персонажей сторон. В тюрьме происходили частые убийства заключенных, уличаемых в провокации, доносе или по-

павших в тюрьму агентов охраны, рискнувших сидеть в изолированных камерах. Для последних в замке имелся целый этаж в одиночном корпусе «нового здания» внизу, в так-называемом «трюме».

Все же, как ни странно, среди уголовных в «коммуне» их «головки» отбывал каторгу помощник пристава, член тифлисской организации «союза русского народа», пытавшийся убить артиста театра «грузинской драмы» соц. федералиста Каргаретели. Дело было «сработано» нечисто: после спектакля Каргаретели, выходя из под'езда театра, был арестован группой чинов полиции и увезен за город, где его пристрелили и бросили, конечно, очистив карманы. Каргаретели оказался лишь раненым, к утру он пришел в сознание и начал звать на помощь.

Об этом диком поступке узнала грузинская публика, и дело дошло до наместника. Последний своим вмешательством дал ему движение. Убийца попал под суд и получил шесть лет каторги, тогда как обыкновенным подсудимым в подобных случаях грозила петля.

И вот этого «каторжанина» «верхи» уголовных взяли под свое покровительство. Вначале их за это упрекали и политические и уголовные; но после убедились, что пристав этот — просто убийца-грабитель и находится в своей среде.

Прошло около года, и в одно из воскресений, после свидания, этого каторжанина нашли в уборной плавающим в луже крови. По подсчету оказалось до шестидесяти ранений. Убийство загадочное: кто убил? для чего?

На другой день родственники и сочлены из С. Р. Н. пришли за трупом убитого. Мужчины ругались, женщины до истерики были и грозили, что тюрьме это даром не пройдет.

Оказалось, что в понедельник его должны были освободить: на свидании ему сообщили, что по высочайшему повелению он помилован. По этому случаю в «коммуне» шла попойка, а к вечеру молодца нашли в уборной.

Исполнение угрозы недолго заставило себя ждать. Дня через два, когда арестованные сидели на окнах камеры, где жил убитый, совершенно с другого поста, из-за угла одиночного корпуса, часовой выстрелил в окно — одного убил, другого ослепил, а третьему перебил переносицу.

Это было часов в девять утра. Уголовные заволновались. Собрались в одну большую камеру, где и приняли предложение своего старосты безоговорочно и единодушно об'явить голодовку и потребовать вызова в тюрьму генерал-губернатора, прокурора и предания суду караульного офицера и стрелявшего солдата. Всю варившуюся пищу немедленно выбросили из котла и отобрали у всех хлеб. Нам, политикам, приходилось только присоединиться, так как стрельба по окнам была давно нами

опротестована и временно прекратилась. После недолгих разговоров на собраниях по корпусам голодовка была объявлена по всей тюрьме. Для выработки единодушного требования политическими было предложено избрать специальных уполномоченных, совместно со старостатом выработать требование и немедленно предъявить его властям.

К полудню в корпусе политических «старого здания» собрался «совет» избранных и старост. На предложение политических формулировать яснее требования, ограждающие жизнь заключенных, уголовные отвечали одно: потребовать генерал-губернатора и прокурора и предать суду офицера и солдата. Требование в своей последней части казалось вполне логичным. Тюрьма единодушно облекла протест в форму голодовки, даже не подумав о сроке таковой. Когда представители политических ясно сформулировали требование, подкрепив его голодовкой до удовлетворения, хотя бы это стоило некоторым жизни,—уголовные единодушно запротестовали и предложили применить обструкцию: жечь матрацы, бить окна, двери и т. п., так как голодовку они могут протянуть только до вечера: у них уж сегодня есть пьяные. В среде политических также было не все благополучно. К длительной голодовке большинство относилось отрицательно. К тому же в тюрьму были введены солдаты, размещенные у каждого двора повзводно. Из корпусов выпускали только одиночно и по указанию надзирателей. Тюрьма представляла военный лагерь и была объявлена на военном положении. Комендант заявил старостату, что генерал-губернатор приказал в камерах ночью света не гасить—в противном случае он будет зажжен из винтовок. Рано утром, по требованию заключенных, был созван «совет», где выяснилось, что уголовные фактически не голодают, а так как в этот день у них свидание, то и от него они не откажутся. Политические решили продержаться до вечера. Уголовные свиданием воспользовались в этот же день. Так «дружно» начатая голодовка была быстро и скандально ликвидирована. Столь решительное в первый момент требование уголовных так и повисло в воздухе, оставшись даже не предъявленным. После неудавшейся голодовки для всех стало ясно, что недалек тот момент, когда тюрьма будет «завинчена».

«Протестанты» теряли «влияние в массах», и на сцену выходили сторонники сохранения «конституционных» установлений, приобретших в тюрьме право гражданства. В политической среде появился «мирнообновленческий» ареопаг.

Единодушия среди заключенных не было. Все следственно-политические содержались в Метехском замке в одиночном корпусе—по одному, вдвоем и по три, в зависимости от площади камеры.

Женщины, хотя бы и следственные, сидели в губернской тюрьме, где отбывали наказание приговоренные на разные сроки уголовные. Тюрьма была построена по типу дворов с общими камерами. Политических женщин содержали в одном дворе, в общей камере - казарме, в которой все женщины размещались на нарах или даже на полу. По сравнению с одиночками, в которых жили в замке мужчины, положение женщин было тягостным. Одиночные камеры, с свободным общением с товарищами и достаточным количеством часов прогулки, являлись именно той «идеальной» тюрьмой, которую ищут присяжные тюрьмоведы Европы. Женщины обратились с просьбой к нам помочь им устроиться в одиночках. Дело в том, что тюремное начальство ответило им, что в его распоряжении особых для женщин одиночек не имеется, одиночные же корпуса Метехского замка переполнены мужчинами и что, если последние самоуплотнятся, тогда некоторые из женщин, преимущественно больные, могут быть переведены.

Вопрос этот, казалось, абсолютно не требовал никаких препирательств. Однако среди старостата возникли разногласия, и дело перешло на общее собрание корпуса. Докладчики, сторонники перевода, встретили совершенно нелепую оппозицию: некоторые заявляли, что не могут за себя поручиться, так как не общались с женщинами, другие боялись потерять лик Иосифа Прекрасного, ибо считали женщин существами крайне опасными. Говорили, что в 1906 г. женщины жили в корпусе «нового здания» и от этого ничего хорошего не получилось. Притом женщин меньше мужчин и поэтому будут избранные и парии, начнутся столкновения. После обширных прений вопрос был поставлен на голосование, и за перевод оказалось довольно ничтожное меньшинство. Таким образом перевод женщин в Метехском замке был провален. Поведение заключенных объясняется тем, что большинство из них было следственными и в революционных рядах случайными. Все активные или отсиживали в срочных тюрьмах или обретались в ссылке и на каторге. Для очистки совести мужчины освободили одиночки в больнице замка, и туда были переведены нервно-больные женщины.

Вскоре с этапами в тюрьму попала холера, которая начала свою «работу» и на воле. Заключенными были приняты меры изоляции. Эпидемия появилась в больнице; поэтому было предложено всем, кто может, больницу оставить, так как последнюю предстояло изолировать. Временно решено было отказаться от свиданий. Администрация тюрьмы без нажима со стороны заключенных никаких мер по борьбе с эпидемией не принимала.

На холеру была сделана последняя «ставка» в смысле объединения политических с уголовными — и также провалилась.

Тюрьма разложилась, в ней не было спайки. Тюрьма стала беззащитна. Более выдержанные товарищи устарились от повседневных мелочных тюремных дрызг. Начали учащаться всевозможные подготовки к побегам, всегда оканчивавшиеся провалом; опять начались насилия и грабежи.

Однажды на свидании мне передали, что, если я хочу бежать, то нужно только сговориться с одним из товарищей. От побега я отказался. После свидания я пошел в больницу, где указанный товарищ подошел ко мне сам. Это был один из камеры «террористов», атаман-экспроприатор. Разговор пошел в открытую. Я вторично отказался, ибо мне угрожало минимум 8—10 лет каторги и я ни в коем случае не посмел бы отнять жизнь у часового только для того, чтобы самому выйти на волю. Помогать в устройстве побега я также не захотел. Вскоре в больницу замка привезли на фаэтоне в наручниках, в сопровождении усиленного конвоя пеших и конных, раненого террориста, рабочего-грузина, убившего начальника кавказского почтово-телеграфного округа. Через несколько дней его увезли в суд, приговорили к повешанию и возвратили снова в замковую больницу. Ожидали помилования. Прошла неделя... Наконец, приехали власти, чтобы привести приговор в исполнение. Тюрьма как бы ошетибилась, само собой возникло решение—больного палачу не отдавать.

Власти и администрация пошли на переговоры, поставив условием, что, если приговоренный пойдет на казнь добровольно, повешание будет заменено расстрелом—и не где-либо на задворках тюрьмы, а на плацу казарм одного из полков гарнизона. Это как бы подкупило, и к обреченному отправилась своего рода депутация. Вскоре «депутация» вернулась и сообщила, что он просит к себе Исидора, т.-е. Исидора Рамишвили. Старик Рамишвили находился у себя в камере, когда ему сообщили, что его зовет к себе приговоренный: он поспешно надел пальто и пошел в больницу. Старик говорил с ним по-грузински, затем поцеловал и пожал руку. Приговоренный, улыбаясь, кивнул головой, сорвал повязку с руки, одел халат и сказал, что он готов.

— Прощайте, товарищи!

И... на фаэтоне, часов в 7 утра, в сопровождении эскадрона драгун его увезли из Метехского замка. На другой день начальник тюрьмы сообщил одному из старост, что приговор приведен в исполнение. Казненный держался героем, даже повязку на глаза не позволил надеть.

Еще через день прочли в газетах, что казнь через повешание заменяется расстрелом. С этого времени заключенного «смертника» брали в комендатуру, где об'являли обвинительный акт, оттуда же уводили в суд и брали на казнь.

В одно из воскресений 1908 года, кажется 8 мая (числа точно не помню), подготавливавшие побег были настроены «по-праздничному» и в петлицах носили красные бантики. После свидания, когда принимали передачу, я проходил по двору «старого здания». Ко мне подошел «атаман» группы экспроприаторов, тоже с красным бантиком, взял под-руку и спросил, было ли у меня свидание. Я ответил отрицательно. Проводив до дверей двора «нового здания», он пожал мне руку; я пожелал ему успеха. Мы расстались.

В этот день после свидания старший надзиратель принимал через ворота передачу. Поэтому у ворот внутреннего двора постоянно группировались ожидающие заключенные, а за воротами в наружном дворике толпились их родственники и знакомые. Во внутреннем же дворе шла прогулка. Старший надзиратель громко вызвал:

— Таканшвили! Иди, получай!

Принимая корзину, старший надзиратель хотел осмотреть ее. Таканшвили, тут же присутствовавший, выстрелил нагнувшемуся надзирателю в затылок. В тот же момент с балкона второго этажа бросили бомбу в часового и взрывом другой бомбы взорвали ворота...

Вмиг очистился весь двор тюрьмы.

Кто убежал, кто спрятался по камерам. Даже один из подследственных террористов, не посвященный в событие, сидевший на балконе второго этажа, успел сбежать вниз и скрыться за ворота.

Минут через пять-десять к тюрьме скакали драгуны и казаки.

Из окна я видел, что беглецы ушли в сторону Авлабара, а драгуны неслись по Песковской к замку. Ушло восемнадцать человек. Со стороны заключенных жертв не было. Оказались убитыми старший надзиратель, часовой солдат, городской и случайно ранены ламповщик и женщина.

Побег был совершен в 4—5 ч. пополудни. Заключенные разбежались по камерам. Первое время надзирателей не было. И только тогда, когда в тюрьму введены были войска, появившиеся надзиратели заперли камеры. В «новом здании» у каждой двери поставили на ночь часовых. Утром в присутствии солдат производились обыски и отбирались вещи. В тюрьме вводился «режим расправы». Камеры одиночного корпуса были приспособлены к коридорной изоляции, из них было убрано все вплоть до парашш... Началась пытка. Обыски производились каждый день. Обыскивали жандармы, городовые и надзиратели и всякий раз что-либо отбирали, как неположенное по уставу. Недели через две очистили все, вплоть до белья.

Начальника тюрьмы Соболевского отстранили, назначили нового полицейского чиновника Сопруненко. Молодой пьяница-

погромщик стяжал себе славу в Киеве в еврейских погромах. Сопруненко подобрал самых «отпетых» из надзора в полное распоряжение и передал им тюрьму. Сам он занимался тем, что со своими помощниками, такими же пьяницами, устраивал у себя на квартире оргии, после которых врывается в камеры и спрашивал надзирателя:

— Это что?

— Камера,—отвечал надзиратель.

— Обыскать!

И происходил самый циничный обыск. Если попадались на глаза люди или предметы, то раздавался тот же вопрос.

— Чайник, ваше благородие,—отвечал надзиратель.

— Обыскать!—отдавался повелительный приказ, и на глазах «начальства» происходил самый тщательный обыск медного чайника. Я сидел в самой дальней камере по коридору, и Сопруненко всегда застревал где-либо раньше, так ни разу до меня и не добрался.

Зато почти ежедневно являлся его помощник, прапорщик Миронов, служивший еще при Соболевском, натравливавший надзирателей и всех, кто охранял тюрьму, на отдельных заключенных. Этот Миронов всякий раз, приходя к моей камере, открывал форточку и говорил своему собеседнику:

— Каторжанин, сахалинец, беглый из Сибири.

И несколько физиономий по-очереди заглядывали в мою камеру.

В тюрьме воцарился кошмар. Камеры были переполнены. Прогулки были отменены. Пища подавалась почти в сыром виде. К тому же в виду малой вместимости котлов в них два раза подливали воду. Не было и передач и свиданий.

Недели через две пришел прокурор. После этого дали часовую прогулку и разрешили передачу— в неделю один раз. Но передача по пути таяла, и к заключенному доходили почти пустые узлы. Несколько раз в неделю тюрьму посещали разные чины, но никто из них не считал своим долгом возмущаться на заявления заключенных. Однажды на прогулке встретился нам сам генерал-губернатор Тимофеев. На вопрос одного из заключенных, когда мы получим «законные» прогулки и свидания и более или менее человеческое обращение, Тимофеев затряс головою и круто обрезал:

— Это есть и еще будет и будет! — и поспешно вышел со двора.

Стрельба по окнам участилась. Стреляли во всякого, чья голова видна была часовому. Начальство установило за удачное попадание премию: за ранение—три рубля, наповал—пять-семь. Охотники так и ходили с винтовкою в руке и следили за окнами. Наученные горьким опытом арестанты прятались по камерам.

Тогда стрелками была применена провокация: пытались доверчивого заключенного подозвать как-нибудь к окну и пр.

Однажды ранним утром часовой постучал штыком по решетке окна женской одиночной камеры в больнице. На вопрос заключенной, часовой попросил сказать, который час. В этой одиночке сидела приговоренная к ссылке политическая София Угрелидзе; она только-что оправилась после тифа и теперь ожидала этапа. Когда несчастная поднялась к окну, чтобы сообщить, который час, солдат, державший наготове винтовку, выстрелил и раздробил ей всю нижнюю челюсть. Раненая вылечилась и, изуродованная, несколько месяцев спустя, была отправлена в ссылку.

В другой раз часовой также постучал штыком и просил покурить. Заключенные связали две папироски ниткой и выбросили за окно. Раздался тревожный свисток, и к нам в корпус ворвались караульный офицер, тюремная администрация и произвели обыск в камере, из которой были выброшены папиросы. Так как в этой камере сидел сын городского головы, князя Черкезова, то ворвавшиеся не посмели очень безобразить.

Начальство всячески мстило тюрьме. Не могли простить, что среди заключенных не было жертв при побеге. Особенно злобствовали военные. Всякого, кто попадал под военный суд, обязательно приговаривали в лучшем случае на каторгу. Поэтому «смертников» было много и всех их держали в камерах «нового здания», внизу. Вешали каждый день человека по два, по три. Палач получил право гражданства и свободно разгуливал по тюрьме.

«Смертников», скованных по рукам и ногам, держали в небольших одиночках по несколько человек, без матрацов, столов и вообще какой-либо «обстановки». К ним-то Сопруненко и зачастил захаживать после своих оргий. Бил палкой. Ругал, кричал «завтра будешь повешен, как собака».

Одного из «смертников» что-то долго не вешали и это приводило Сопруненко в бешенство. Он давно ему изрек «завтра будешь повешен», а тут пассаж: смертную казнь заменили каторгой и дело опять кассировали. Через неделю последовало оправдание, и он прямо из камеры смертников очутился на воле, что было неожиданно для самих тюремщиков. Сопруненко еще больше обозлился и бил палкою всякого, кого встречал в кандалах.

Тюрьма задыхалась. Надзор наглел.

И...через месяц пронесся слух, что в Сопруненко в Метехском замке стреляли и ранили. Террорист задержан. Сопруненко ранен в руку повыше локтя. Его в обмороке принесли в контору. Придя в сознание, он плакал навзрыд. Надзор обозлен и грозитя расправой. Отправили делегацию к полицеймейстеру

за разрешением привести в покорность тюрьму, так как виновники покушения находятся в самой тюрьме, а стрелявший только недавно из нее освобожден.

Упорные слухи о готовившемся погроме подтверждались тем, что озлобленными надзирателями был убит стрелявший в Сопруненко. Из камеры по-утру вынесли труп. Несчастного избивали каблуками до последней минуты. Все лицо представляло сплошной кровоподтек, в нескольких местах были переломлены ребра и продавлена грудь.

Сам Сопруненко трусил и тюрьму передал начальнику губернской тюрьмы Рымкевичу, до назначения в Тифлис бывшему начальником Царицынской тюрьмы, где был ранен и учинил погром, за что и получил повышение вместе с заданием подтянуть распушенные тифлиссские тюрьмы.

В Метехский замок приезжал прокурор и опрашивал заключенных о «художествах» Сопруненко. Мы успокоились. Угроза непосредственного погрома миновала. Дня через три надзиратель поспешно открывает камеры и говорит: «выходи на прогулку», кто не желал—тому приказывали. Здесь же присутствовал помощник Миронов, чувствовавший себя, как мне тогда показалось, в положении прибитой собаки.

Когда мы поспешно заполняли двор, Рымкевич уже нас ожидал, окруженный «свитой» из двух ингушей с маузерами наготове и целого наряда надзирателей, впереди которых были все чины тюремной администрации вплоть до писаря и казначея. Все стояли руки по швам. Сам Рымкевич, как это подобает большому начальству, несколько впереди с отставленной правой ногой. Одна рука за петлицей френча, а другой правой он размахивал белым блестящим «браунингом». Первым обращением было «здравствуйте», кое-кто из нас ответил тем же «здравствуйте»; Рымкевич заявляет, что он сам оратор и любит собирать митинги, а посему ни в коем случае не допустит таковые в тюрьме без его ведома. Всякое собрание или действие скопом у него считается бунтом, и главарей бунта он по головке не погладит. Бунты, между прочим, он любит. Бунты без главарей не бывают, и всякий бунт дает ему возможность схватить за чуприну, чтобы в другой раз не всякому было повадно.

Но ежели кто вздумает на него напасть, он этого тоже не боится, так как у него имеется эта штучка—и он потряс «браунингом» в воздухе. Что же касается об'ятий, которыми могут почтить его арестанты, он так же их не потерпит и всякого молодца встретит тем же—и очертил широким размахом руки с «браунингом» круг.

Быть-может кто захочет бежать, то пусть будет всем известно—у него ни в коем случае не допускается. Всякого молодца, осмелившегося на этот шаг, он заранее приказывает пристрелить

на месте. Всех же тех, кто надумает напасть на тюрьму с целью освободить арестантов, он через нас предупреждает, что ни одного живого арестанта нападающие в тюрьме не найдут. В Царицыне к тюрьме подходила толпа с красными знаменами и требовала освободить заключенных, на это он им ответил, что в тюрьму никого не допустит. На случай, если штурмующие вздумают насильно ворваться,—будет слишком поздно, ибо они найдут только трупы, но он предупреждает, что добром из него можно «веревки вить». Он нужды арестанта знает и пойдет им навстречу, ежели только просители не будут зарываться. Во время своей речи Рымкевич подчеркивал слово «арестант» и даже особенно его говорил: в тюрьме у него никого иного нет, кроме арестантов и надзирателей. Если же у кого есть какие-либо заявления и просьбы, он сегодня принимает у себя в кабинете. Предупреждает, что просьбы и заявления должны писаться каждым отдельно, никаких уполномоченных и старост он не признает. У него хватит времени всех и каждого выслушать.

По уходе Рымкевича явился Миронов и предложил желающим записаться к начальнику. Некоторые товарищи из'явили желание и были на приеме. В результате—установлены дни свиданий, хотя через решетку, и продлена прогулка до двух часов, каждая по часу два раза в день. Рымкевич также принимал жалобы на надзирателей, оскорбляющих заключенных матерной руганью, и тут же приказывал оштрафовать на пять рублей каждого.

Появление Рымкевича в Метехском замке внесло некоторое изменение в сторону улучшения тюремного режима сравнительно с произволом Сопруненко. Прежде всего в тюрьме было снято военное положение и был введен общетюремный режим.

Все же эти изменения нас мало успокоили. К нам доходили слухи, что в губернской тюрьме Рымкевич сам избивает заключенных. Поэтому в лице Рымкевича мы видели присяжного погромщика и со дня на день ожидали неизбежной расправы. Рымкевич был влюблен в свою власть, как он выражался, власть неограниченную, и всякий раз подчеркивал, что в тюрьме он сам губернатор, прокурор и даже наместник. Если арестанту что нужно, Рымкевич захочет—арестант все получит. Всех заключенных, кому угрожало лишение «всех прав и преимуществ», заковали в ножные кандалы и посадили по два, применяя к ним «каторжный» режим. Участилась стрельба по окнам, стреляли даже со внутреннего двора, так что в камерах стало небезопасно. Карцеры переполнились. Был введен особо-установленный процент заболеваемости, сверх которого болеть не полагалось. Нередко сам Рымкевич обходил больницу и устанавливал, кому нужно больничное лечение и кто может быть возвращен в камеры. Тут же приказывал собирать вещи

и целыми группами выбрасывал совершенно больных из лазарета. Диагноз выздоравливаемости был таков: значит здоров и может находиться в камере на общих основаниях.

Тюрьму перестраивали беспрерывно. На работе этой были заняты все арестанты, организовывались мастерские. Была и типография. Рымкевич, узнав, что среди политических имеются наборщики, печатники и переплетчики, вызвал их и вступил с ними в торг. Так или иначе типография начала работать. Вслед за типографией в тюрьме постепенно организовывались разные мастерские вплоть до спичечной. Почти пол-тюрьмы втянулось в работу. Работа не была принудительной, что еще более способствовало расширению мастерских и возникновению новых. Но работа нарушала режим «закрытых камер», и тем самым тюрьма постепенно как бы раскрепощалась, принимая вид жужжащего улья. Весь день от звонка до звонка пыхтят трубы моторов, стучат молотки. Через двор и по коридорам шмыгают отдельные заключенные к своим мастерским.

Как ни странно, но при Рымкевиче в эпоху тюремных мастерских побегов почти не было. Лишь во время обысков находили орудия подкопа, пролома и проч., теперь ставшие ненужными. Рымкевич парализовал побегі системой перемещения из замка в тюрьму и из камеры в камеру. В это же время в замке были и «смертники» всегда в достаточном количестве. При Сопруненко было повешено за месяц до 10 человек. Последнее время вешали не каждый день но... часто. Все осужденные на казнь содержались в Метехском замке, и к ним применялся карцерный режим: без прогулок, книг и проч. К тому же они были в ножных и ручных кандалах. Это послужило поводом «делового» разговора с Рымкевичем о применении к «смертникам» тюремного режима. Говорили мастерские через своих представителей. В результате «смертникам» была прогулка, книги и даже свидания. С переходом тюрьмы от закрытых дверей к режиму «рабочей тюрьмы» значительно улучшился и тюремный котел. В Метехском замке к мастерским также была применена получасовая прогулка в две смены: летом—по окончании работ вечером, зимою—в обеденный отдых.

В 1909 году, в конце мая, по окончании работ, когда первая смена гуляющих уходила с прогулки, а вторая еще не вышла, по камерам со двора была открыта ружейная и пулеметная стрельба. Обстреливали тюрьму. Для всех нас это был давно ожидаемый тюремный погром. Я сидел тогда с товарищем в одиночке «старого здания» и оба работали в типографии. Мы на прогулке не были при начале погрома. Мы никаких мер не принимали, решили выждать событий.

Но странно, надзиратели исчезли, только время от времени «крадучись» перебегали через коридор. Настал вечер. Поверки

нет. Стрельба утихла. По лестнице поспешно поднимается несколько пар подкованных сапог, слышно бряцанье оружия. Хлопанье дверей одиночек... тихо... Мы с товарищем переглянулись и в недоумении пожали плечами. Приближаются к нашей камере. Подошел часовой. Потом подскочил надзиратель, поспешно открыл дверь, и к нам вошли помощник начальника губернской тюрьмы, старший заведывающий цейхгаузом с царапиной на лбу и дежурный надзиратель. Помощник поздоровался. Мы не ответили. Ушли. Что это значит? Погром? Почему же никого не тронули из нашего коридора? Перестукались с соседней камерой, те ничего не знают. Ночь прошла без сна. Мой товарищ грузин, соц.-дем. Попу Джорджадзе, наборщик, в то время уже приговоренный в каторгу, старался определить, что же произошло. Я же как-то безразлично отнесся к происшедшему и думал о губернской тюрьме. Я был уверен, что начало должно быть там, так как в замке все было «тихо». В губернской же вели неустанную борьбу женщины и неутомимыми бойцами были мои сопроцесницы. Я не сомневался в погроме.

Рано утром мы узнали следующее: из «нового здания» по обыкновению «смертников» вывозили в губ. тюрьму для приведения приговора в исполнение. В данном случае брали трех человек, двух разбойников татар и экспроприатора—грузина. Надзиратель у террориста-экспроприатора снял ручные кандалы. Оттолкнув надзирателя, они бросились к солдатам и отняли у них винтовки. Второй татарин сам разорвал свои цепи. Обоих солдат тут же закололи штыками, надзиратель бежал, его спас арестант ламповщик. Вооруженные арестанты бросились обратно в коридор, забаррикадировались матрацами и стали ждать «врагов».

Караул растерялся и начал лупить по тюрьме из винтовок и пулеметов. На тревогу прискакали артиллерия, пожарные, драгуны, казаки, готовились штурмовать тюрьму артиллерийским огнем. Штурмующим казалось, что по ним стреляют из всех окон тюрьмы, даже и из больницы. Наконец об'единенными силами свора драгун, казаков и пожарных во главе с Рымкевичем была проломлена стена, и беспорядочной стрельбой взбунтовавшиеся смертники убиты.

В результате трехчасового обыска кроме убитых оказался один раненый. Тюрьма была изрешечена пулеметными и ружейными пулями. Ввели усиленную охрану и применили метод «запугивания».

Еще через день были открыты все мастерские. Через неделю тюрьма опять жила в условиях довоенного нашествия. В самом Тифлисе в господствующих кругах высшей бюрократии и буржуазии события в Метехском замке были сильно раздуты: заключенные обезоружили якобы охрану, разгромили

тюрьму и бежали в город. У банков и казначейства поставили усиленную охрану.

Это было в 1909 году, когда самодержавие беспощадно расправлялось со своими политическими врагами. Ясно, что возможность такого массового побега приводила его верных слуг в ужас. Мне пришлось просидеть в Метехском замке еще и 1910 год и пережить не одно столкновение с администрацией. Характерно, все они заканчивались переговорами, и чем дружнее и организованнее проводились требования, тем полнее и скорее удовлетворялись. Наиболее настойчивые требования, даже одиночные, удовлетворялись Рымкевичем. Политических женщин в тюрьме было немного, но они держались весьма дружно. Издевательство Рымкевича почти всегда разбивалось о твердость и настойчивость женщин. Введенный режим «закрытых дверей» в обеих тюрьмах не встретил должного сопротивления. В карцер женщин, если и брали, то только с «бою», в котором сам Рымкевич принимал деятельное участие. После месяцев борьбы, в которой женщины проявили максимум стойкости и упорства, Рымкевич уступил. Женщин перевели в Метехский замок отвели им особый двор с отдельными камерами и кухней. Прогулки установили по расписанию и камер не запирали. Рымкевич к ним не ходил, дабы не напороться на «непочтительность».

В тюрьму приехал губернатор и обходил камеры, везде нашел достойный порядок. Но у женщин самому губернатору пришлось натолкнуться на «непочтительность». Женщины были на дворе на прогулке и только две-три оставались в камерах. Расчет Рымкевича был таков, чтобы губернатор увидал и здесь, в женских камерах, «порядок» и умышленно повел его туда во время прогулки. Но... при появлении губернатора и окрике надзирательницы: «смирно, встать!» находившаяся в камере женщина демонстративно села на скамью, что очень оскорбило «превосходительство» и виновницу должны были ввергнуть в карцер.

По возвращении с прогулки женщины решили свою товарку не выдавать; в результате всех перевели на карцерное положение, а некоторые попросту угодили в карцер.

В этой борьбе мужское население обеих тюрем женщин ничем не поддерживало и ничем на нее не реагировало.

В период 1909 и 1910 гг. тюрьма с массовым протестом выступает только в случаях серьезной и требующей решительных действий борьбы. Рымкевич пытался и к работающим каторжанам применить систему запугивания: снимал с работы и переводил в камеры на карцерный режим. На эту попытку крепостники ответили об'явлением голодовки. На другой же день Рымкевич вступил в переговоры. В результате «наказанные» полу-

чили и прогулку и общетюремный котел. На третий день мастерские работали. Всякие попытки, клонившиеся к ухудшению режима, пресекались быстрым и дружным отпором, в организации которого мастерские сыграли решающую роль. Нужно заметить, однако, что, с одной стороны, мастерские являлись весьма выгодным средством борьбы, чувствительно бьющим по интересам тюремной администрации; зато, с другой, они же были и средством, парализующим единую волю заключенных. Многие работавшие дорожили и заработком и льготами, установленными в мастерских. Кроме того, создались легенды, устанавливавшие, как факт, сокращение сроков. В силу этого среди «кобылки» была сильная тяга на работу, и те, кто не мог попасть на таковую, завидовали «счастливым» и от зависти негодовали и даже упрекали работающих в том, что они недостаточно помогают товарищам.

Наконец, в дела тюремных мастерских вмешались полицейские власти и жандармы. Первые заявили, что тюрьма распущена и инструкции содержания арестованных не соблюдаются, а по мнению жандармов, политические недостаточно были изолированы от воли, ибо могут иметь общение с заказчиками.

В силу этого меня, как работающего, два раза допрашивал полицейский пристав и один раз жандармский офицер.

Вскоре политических каторжан разослали этапом по каторжным тюрьмам и распределили так, что однопроцессники не могли попасть в одну и ту же тюрьму. Я попал в Ярославскую каторжную тюрьму, остальные товарищи были разосланы в разные места, и только женщины несколько раньше неразлучно очутились в Московской Новинской тюрьме.

Е. Самойленко.

Станислав Рымкевич, начальник Тифлисской губернской тюрьмы и Метехского замка¹⁾).

Мрачные годы реакции, наступившей вслед за 1905 г., заполнили все тюрьмы России и Закавказья противниками царизма. Началась жестокая расправа с дерзнувшими посягнуть на «незыблемые основы». Кого нельзя было подвести под смертные статьи и повесить—решили взять измором: полетели циркуляры по тюремному ведомству, и в результате началась упорная борьба политических заключенных с тюремщиками, вписавшая много кровавых страниц в историю революционного движения.

В середине 1908 года тюремное ведомство решило приняться и за тюрьмы Закавказья, где положение политических заключенных было пока сравнительно сносным. В первых числах июля 1908 года назначается начальником Тифл. губ. тюрьмы Станислав Рымкевич, бывший начальник Царицынской тюрьмы, прославившийся своими зверствами, доведшими до того, что один из заключенных бросился на него с ножом и ранил в шею. И вот теперь этому «герою» было поручено «подтянуть» закавказские тюрьмы.

Как ураган, с ватагой вооруженной стражи ворвался он в Тифл. губ. тюрьму и начал вводить новые порядки. Зазвучала команда: «Смирно, встать, шапки долой!». В одном из первых же приказов по тюрьме мы находим следующие строки²⁾:

«...Требую от всех безусловно строгой дисциплины, искоренить существующую распушенность как среди надзирателей, так и в особенности среди арестантов...

...предлагаю всем надзирателям неукоснительно и в точности выполнять все мои приказания, а именно: при входе во двор начальствующего лица, дежурный постовой надзиратель командует: «Смирно», после

¹⁾ По материалам Музея Революции и по личным воспоминаниям.

²⁾ Приказы по Тифл. губернской тюрьме и Метехскому замку за 1908—1909 г.г. Сохраняем стиль подлинника.

чего арестанты должны стать стройно в ряды и прекратить всякий шум и разговоры между собой... Все арестанты должны быть застегнуты, подстрижены, побриты и вообще у них должен быть вид строгой подчиненности и дисциплины... Виновные в неисполнении сего приказа будут подвергнуты строгому взысканию».

Политические, конечно, и не собирались из'являть покорность и принимать вид «строгой подчиненности».—Началась тяжкая борьба. Неподчинявшихся «пачками» и по-одиночке тащили в темные, сырые и грязные карцеры, морили голодом и холодом, месяцами лишали свиданий с родными, передачи с'естного, книг. Заболевавших сплошь и рядом лишали медицинской помощи и держали на черном хлебе и сырой воде.

Упорное сопротивление политических, особенно женщин, приводило Рымкевича в ярость. Он метался со стражей по тюремным дворикам с неизменным браунингом в руке и наводил «порядки». Вот одна из обычных сценок того времени.

Политические женщины на прогулке в своем дворике: кто сидит на скамьях, кто медленно прогуливается; вдруг распадается калитка, и дворик наполняется надзирателями и солдатами с Рымкевичем во главе.

— Встать, смирно!

Сидевшие продолжают сидеть, а стоявшие немедленно же усаживаются.

— Поднять их!—вопит Рымкевич с перекошенным от злости лицом. Стража кидается к сидящим, стаскивает их со скамеек, а скамьи выкидываются со двора, чтоб на них опять не сели. Поневоле все на ногах—не садиться же на землю! А Рымкевич, тыча в нос каждой заряженным браунингом, вопит благим матом:

— Я вас заставляю подчиняться моему режиму, а если за вас заступится кто-нибудь из ваших товарищей на воле и вздумает на меня покушаться, то я такого мерзавца прежде всего рраздавлю, как собаку, а потом приду сюда и всех вас перестреляю!

В заключение—карцеры, карцерные положения и т. д. и т. д.

Вводя в тюрьмах поистине каторжный режим, Рымкевич совершенно игнорировал то обстоятельство, что большинство политических были или подследственные, или отбывали крепость, или краткосрочное в административном порядке заключение.

Будучи одновременно и начальником Метехского замка, он и там ввел новый режим, и там зазвучала команда: «Смирно!» и. т. д. Началась прогулка по-парно по кругу и прочие издевательства. В приказе № 84 от 14/VIII 1908 г. имеются следующие строки:

«...во избежание всяких беспорядков, сегодня же завожу и устанавливаю прогулку по-парно в круг, друг за другом на расстоянии пара от пары не менее одного шага, при чем гулять без разговоров между собою. Курить во время прогулки запрещаю и вообще в присутствии тюремной администрации приказываю не курить никому из арестантов».

Усиливая свои репрессии, особенно после кровавой трагедии, разразившейся в Метехском замке в мае 1909 г., о чем будет сказано ниже, Рымкевич в приказе о порядке прогулки для заключенных делает следующее распоряжение:

«...Впредь вывод на прогулку всех арестантов без помощника, заведывающего полицейскою частью, я совершенно воспрещаю и вывод на прогулку не более двух в один прием, и прогулку им разрешаю только 15 минут; затем на двух гуляющих должно быть четыре надзирателя и один помощник и границы прогулки должны быть точно определены; если только арестант сделает шаг за черту границы, то стрелять немедленно и убить наповал...» и т. д. (из приказа № 103 от 22/V 1909 г.).

Уголовным заключенным жилось не легче; кроме того, Рымкевич решил из них сделать доходную статью и организовал тюремные мастерские, куда силой, по буквальному выражению в приказах, «загонялись» не только малосрочные уголовные, но и другие категории, особенно каторжане.

Оплата труда в мастерских была самая мизерная (каторжанин мог заработать, и то с большим трудом, 3 коп. в день), а режим такой же каторжный, как и в камерах. Естественно, что заключенные от работы в мастерских старались всячески избавиться. В приказе № 105 от 24/IX 1909 г. читаем:

«...При проверке сего числа, в 6½ часов утра, я не нашел никого из арестантов на работах при вновь строящейся мастерской; между тем мною было поручено помощнику моему г. Крыжановскому и старшим надзирателям Журбе, Фисенко и Галдину рабочих арестантов выгнать на работы в 6 час. утра... (далее следуют кары—штрафы провинившемуся надзору)... затем обращаю внимание г.г. помощников и не могу не выразить своего неудовольствия всем, что неоднократно я спрашивал разного рода мастеров, в том числе кровельщиков и плотников, и все получал ответы, что нет никого из арестантов; между тем я сегодня сам почему-то нашел четырех опытных кровельщиков и несколько плотников; из этого я заключаю, что арестанты умышленно заявляют, что не умеют работать некоторых специальных работ и с тем, чтобы не работать, или же некоторые сознательные мерзавцы под угрозой смерти (подговаривают?) не ходить на работы; к устранению этих беспорядков следует строго и самым секретным образом дознать от других рабочих арестантов и даже от приходящих родных на свидание к арестантам, чем арестант, будучи на воле, занимался и какое именно ремесло дома изучал; затем виновных в подстрекательстве не работать мне обнаружить во что бы то ни стало и представить мне; я с ними поговорю по-русски, уверен глубоко, что выучу их немедленно какому-нибудь у меня ремеслу; об'явить всем завтра же, что с такими молодцами я справлюсь и рады не будут со мной больше об'ясняться а будут наоборот сами просить у меня дать им пощады и дать им какой-нибудь работы: последней же у меня найдется и в особенности для подстрекателей и лодырей с которыми работать люблю уже я сам. Приказ этот об'явить всем арестантам, что к ним относится!»

Каков режим был в мастерских, можно судить хотя бы по приказу № 145, 3/XII 1909 г.

«...старший мастер в слесарной мастерской доложил мне, что арестанты каторжный Окуашвили и следственный Псарский не дают правильно работать другим арестантам. Приказываю старшему надзирателю Галдину впредь без всяких докладов предварительно мне подвергать виновных в карцер и приказать виновному в карцер не итти шагом, а бежать, а в случае неисполнения этого, то доложить мне; я заставляю подчиняться моим приказаниям. За настоящий поступок подвергаю в карцер Окуашвили на 10 суток, а Псарского на 7 суток с переводом последнего в Метехский замок на строгий режим, о чем сообщить и заведующему замком для точного исполнения. Кроме того, об'явив сам лично, что буду драть каторжных розгами за всякие проступки в мастерских, еще предлагаю помощнику моему г. Елину внушить строго всем, что пощады и снисхождений не будет никому за дурную работу и за противодействие таковой другим арестантам».

Особую заботливость проявлял Рымкевич по отношению к каторжанам:—в первые же дни по вступлении в должность он их всех заковал в ножные, а многих и в ручные кандалы, совершенно игнорируя врачебные удостоверения, освобождавшие от кандалов больных и слабых. Но и этого ему показалось недостаточно. Вот приказ № 106, 25/IX 1909 г.:

«При проверке мною работ арестантов в кузнице, я нашел, что кандалы делаются неустановленного образца; сделав распоряжение о прекращении этих работ и за допущение к неправильной ковке таковых, старшего надзирателя Филатова штрафую на один рубль и ставлю на вид помощнику моему г. Крыжановскому за недоклад мне об этом и непредставление первого образца; предлагаю впредь обо всем предназначенном к поделке докладывать мне своевременно на мое заключение; кандалы же приказываю делать из более толстого железа и именно цепи; так поделанные нахожу тонкими и весом на $\frac{1}{2}$ ф. легче против установленного образца, как я лично установил».

Для смертников (приговоренных к повешению) Рымкевич создал совершенно невыносимое положение: заковал их по ногам и рукам и разрешил выпускать только 3 раза в сутки в уборную, а потом и совершенно запретил выходить им из камер. Впрочем, эта мера распространилась впоследствии и на другие категории заключенных. Вот выдержки из приказа № 114, 9/V 1909 г.:

«...дежурному помощнику за всею уборною наблюдать и чтобы арестантов выпускалось в отхожие места не более 4-х человек в один прием за неимением конвоя и надзора, из других же камер, где содержатся важные преступники и каторжные арестанты, не выпускать совершенно, а выносить заставлять лишь чеганашки (параши) три раза в день—утром, после обеда и вечером перед поверкою. И эту меру в точности применять впредь до увеличения штата надзирателей, в предупреждение насилия и нападения на надзор с целью обезоружения и насильственного побега».

Рымкевич всячески преследовал коллективные заявления заключенных и выступавших делегатами от группы товарищей или от камеры и обычно сажал их в карцер. Характерным является его приказ от 16 мая 1909 г. за № 99, где он, после

отказа заключенных принять сырой, невыпеченный хлеб, отдает следующее распоряжение:

«...поручаю г. заведывающему (?) впредь поступать при забастовках следующим порядком: как только не пожелают принимать пищи или хлеба, то зачинщиков немедленно всех в карцер; а все освидетельствовать с врачами, и если все годно, то предложить желающим взять; а невзавших оставить на карцерном положении, а принадлежащие им от казны продукты и хлеб вернуть поставщикам за их же цену и деньги сдать в экономический капитал... Я буду очень рад забастовкам в непринятии пищи и хлеба, ибо по пословице: «баба с возу—коню легче» и поэтому и мне будет легче управлять тюрьмой, и кроме того уменьшится расход казне...» и т. д..

Вводя новый режим, Рымкевич должен был иметь подходящий подбор низших служащих—надзирателей, могущих слепо исполнять все его приказы. Найденный им при вступлении штат его не удовлетворил совершенно: многие надзиратели служили годами в губ. тюрьме и Метехском замке и сплошь и рядом сочувственно относились к политическим заключенным, часто и бескорыстно оказывали им мелкие услуги, тем самым хоть немного смягчая тюремный режим. Заключенные, в свою очередь, бережно относились к своим тайным друзьям и никогда их не подводили. Таких надзирателей Рымкевич особенно возненавидел и стал увольнять или донимать штрафами, арестами и т. п. приемами. Освобождавшиеся же вакансии замещал вывезенными им из Царицынской тюрьмы «сотрудниками» или подбирал подходящих типов на месте. Им была создана целая сеть шпионажа за надзирателями, и только перспектива безработицы и голодной смерти заставляла низший персонал тюрьмы выносить обиды и притеснения, щедрой рукой сыпавшиеся на них в очередных приказах. Доносчиков Рымкевич всячески ублажал и поощрял к дальнейшей деятельности наградами и похвалами в приказах. Одним из таких верных служак был помощник Рымкевича Ивлиев. К сожалению, узкие рамки статьи не дают возможности остановиться более подробно на его деятельности.

Создав своим режимом невыносимые условия тюремного существования, Рымкевич естественно ожидал почти неизбежного взрыва (что тоже, повидимому, входило в программу его деятельности), и вот в целом ряде приказов мы находим распоряжения на случай возможных выступлений арестантов:

«Приказываю принять строжайшие меры недопущению к побегам ни тайным, ни насильственным и к тому, если в случае только будет нападение с воли или покушение на побег арестантов, то без всяких колебаний первым долгом перебить арестантов, а затем встретить и перебить частных пришедших с целью освобождения и затем мне доложить, если меня не будет в замке (Метехском) на этот случай, что все благополучно, арестантов убито столько-то и частных разбойников столько-то, о таких молодцах тогда я доложу господину губернатору, чтобы достойным обра-

зом наградить...»; далее следует перечисление тех кар, которые он примет против «вяло» действующих. (Приказ № 103, 14/IX, 1908).

Вот еще образчик подобной литературы—приказ № 24, 3/IV, 1909 г.

«Приказываю всем надзирателям и строго вменяю в обязанность г.г. помощникам, если возникнет у меня бунт или, боже упаси, будет убийство надзирателя или поранение его, а также кого-либо из классных чинов или меня, то всех арестантов этой камеры, где мог бы произойти такой случай, самым беспощадным и решительным образом немедленно, не ожидая никаких ни от кого распоряжений и приказаний, перебить, ибо следует всем знать, что все арестанты, если что имеет быть кем-либо из них совершено, впредь обо всем знают и действуют, следовательно, заодно и с ведома всех, почему, как допустившие это преступление и как принимающие в нем участие, должны быть решительными и самыми суровыми мерами и именно оружием холодным и огнестрельным перебиты и беспорядок подавлен в корне».

Этот приказ повторяется неоднократно, и Рымкевич старательно вдалбливает в головы подчиненных уверенность не только в полной безответственности их в случае кровавой расправы с заключенными, но еще и о высокой награде, ожидающей «отличившихся».

В своих приказах он любит при всяком удобном и неудобном случае употреблять фразу: «Пусть каждый не забывает, что за царем служба, а за богом молитва не пропадают»; иногда же он впадает в полнейший верноподданнический восторг, что находим, например, в приказе № 98, 9/IX 1908 г.

«...я рапорта от постового не желаю принимать и выслушивать, что из его поста убежали арестанты, или был бунт и он не мог справиться по каким-нибудь причинам, нет, я хочу слышать всегда один рапорт, такой: «Ваше высокобл. из вверенного мне поста хотели бежать пять арестантов, с насилем, я всех их перебил». Такому солдату скажу мое искреннее и горячее спасибо и всегда буду сам за него горой стоять и в обиду не дам. Кроме того, следует крепко помнить, что «за богом молитва, а за царем служба не пропадают». Такие солдаты мне дороги и должны сами сознавать, что они этим приносят громадные услуги не только себе, своей семье, но и всей родине, всему начальству верным царским слугам; а самое главное верно исполнять присягу и быть готовым грудью лечь за нашего батюшку царя. Ничто не может быть так нам дорого, как наш великий государь, заботящийся и любящий нас, как своих детей, вот этим-то и следует каждому солдату проникнуться и всегда крепко помнить, что служба царская есть самое дорогое для каждого человека и не всякому дается это счастье, чтоб могли носить царский мундир; а потому мы должны этим гордиться и носить его с достоинством».

Но все предупредительные меры Рымкевича оказываются бессильными и только придают тюремным драмам еще более кровавый и кошмарный характер. В памяти многих, вероятно, сохранилась трагедия, разыгравшаяся в Метехском замке в двадцатых числах мая 1909 г., когда 6 приговоренных к смертной казни через повешение предпочли погибнуть от пули

и в день казни набросились на стражу, отобрали оружие, забаррикадировались в камере и стали отстреливаться. Вызваны были войска, Метех обстреляли, и жизнь всех заключенных несколько часов висела на волоске. В конце-концов у смертников заряды были израсходованы, и всех их перебили на месте. Из тюремной стражи тоже было несколько человек убито и ранено.

К сожалению, у нас не имеется книги приказов Рымкевича о приведении в исполнение смертных приговоров, совершавшихся обычно по ночам за восточной стеной губернской тюрьмы. В таких случаях на месте казни быстро воздвигалась виселица, совершалось гнусное дело, и виселица так же быстро убиралась до следующего раза. Палач был всегда наготове и обычно содержался в одиночке в одной из тюрем, т. к. эти обязанности возлагались на кого-нибудь из уголовных из бывших полицейских с обещанием скорого освобождения.

Долголетняя тюремная карьера Рымкевича закончилась судом за казнокрадство, и он был отстранен от должности. Великая революция 1917 г. застала его на службе на Джульфо-Бакинской военной дороге.

В апреле 1917 г., по распоряжению Тифл. Совета раб. и солд. депутатов, он арестовывается и попадает в Метехский замок. Попав в тюрьму, Рымкевич засыпает следств. комиссию заявлениями, в которых он то возмущается своим «необоснованным» арестом, то стремится доказать свою невинность и слезно просит об освобождении. Верноподданнические чувства уже забыты и их сменили более подходящие к моменту выражения: «прогнившее самодержавие», «гнилая фирма Романовых», «администраторы-воры», «бывшие лакеи-холуи Романовские» и т. д., все это частенько мелькает на страницах его заявлений. Заявления Рымкевича становятся особенно настойчивыми и тревожными после того, как один из уголовных, Зорин, избил его, очевидно, мстя за прошлые обиды и издевательства. Узнав, что после этого избиения следств. комиссия решила перевести его во Владикавказскую тюрьму, Рымкевич просит не посылать его туда, т. к. во Владикавказской тюрьме нет одиночек, и он там подвергнется при содержании в общей камере

«...верной гибели от самосуда Зориных и к-о... меня до Владикавказа даже не довезут, а безусловно буду убит в пути тем же самосудом...» и т. д. (Предв. следствие, листы 25 и 26).

На многих страницах своих заявлений Рымкевич настойчиво старается уверить сл. комиссию, что он был другом для политических заключенных и часто оказывал им большие услуги, неоднократно перечисляя ряд лиц из «общества», якобы пользовавшихся его расположением и заботливостью при отбывании крепостного заключения.

Следствие закончилось тем, что после опроса одного из таких друзей и несмотря на наличие достаточных для привлечения Рымкевича к суду материалов, он был по распоряжению чр. сл. комиссии освобожден на следующем основании:

Выписка из протокола пленарного заседания чр. сл. комиссии от 11 августа 1917 г.

«...Заслушали доклад тов. Демидова по делу Рымкевича.

П о с т а н о в и л и: Дело дальнейшим производством прекратить за отсутствием в деяниях состава преступления, освободив Рымкевича из-под стражи, и сообщить следователю п о о с о б о в а ж н ы м д е л а м».

(Тетрадь протоколов чр. сл. комиссии, лист 50.)

После этого постановления Рымкевич был выпущен на свободу.

В. Светлова.

Тифлис.

31 января 1924 г.

Дела давно минувших дней.

(Воспоминания).

Смутно встают в памяти отдельные события из моих первых революционных переживаний. Однако некоторые моменты сохранились и останутся на всю жизнь. Благодаря этим кровавым полоскам в моем мозгу я сделался революционером, и если подойти с этой стороны к вопросу о роли царского самодержавия, то я могу быть ему только благодарным за указание дороги.

Для писания настоящей памятки у меня нет никаких документальных данных, да пожалуй они и ни у кого не сохранились. Многие имена и фамилии позабыты, многие события, может быть, будут описаны не совсем точно,—и тем не менее я берусь за перо в надежде, что моя повесть вызовет со стороны участников ее желание пополнить допущенные не по моей вине пробелы.

* * *

Небольшой уездный город Вольмар находится в Лифляндской губернии. За исключением двух—трех маленьких предприятий ни в городе, ни в его окрестностях нет рабочего люда. До вольмарских обывателей доходили лишь далекие раскаты надвигающейся революции, и они совершенно не ждали, что и их коснется могучая волна народного гнева. Революция 1905 года началась в рабочих центрах и совершенно неожиданным ураганом пронеслась по тихому гор. Вольмару и его уезду. Грянули первые аккорды рабочих песен, и на базарной площади, напротив городского училища, взвились красные знамена, вокруг которых сразу образовалась толпа в несколько сот человек. В школах прекратились занятия, и ученики присоединились к демонстрации.

На учебном военном плацу был устроен митинг. С горячей революционной речью выступил латышский народный поэт Аpsит, прославившийся потом своими революционными выступлениями на весь Прибалтийский край.

Мне было тогда только 13 лет, и я конечно ничего из речи не понял, но нравились красные знамена, возбуждали мотивы революционных песен, и я от всей души присоединился к радости и ликованию народа, почувствовавшего себя свободным.

В городском училище, где я тогда учился, мы занимались исключительно списыванием революционных песен, разучиванием их и уничтожением царских портретов. Суровые цари, торчавшие на школьных стенах десятками лет, снимались при радостных криках безусой толпы и предавались уничтожению.

Городские жители были простыми обывателями и дальше уничтожения царских портретов и революционных манифестаций они не шли. Зато по всему уезду прокатились аграрные беспорядки. Крестьяне жгли и грабили имения, убивали и выгоняли помещиков, насаждали новую, свою, крестьянскую власть. Создавались революционные суды, которые выносили смертные приговоры всем, кто в эти торжественные минуты позволял себе серьезно провиниться перед революцией.

Но вот среди дыма пожаров горящих имений пронеслась первая тревога. Кем-то был пущен провокационный слух, что на усмирение восставшего народа со всех сторон движутся отряды черной сотни. Появились люди, сообщавшие, что они сами видели, как черносотенцы расправлялись с жителями. По словам этих вестников, черные сотни на своем пути не оставляли камня на камне и резали и убивали не только мужчин и женщин, но и детей. Эти сообщения в обывательских кругах сеяли панику; многие, чтобы избежать смерти, прятались по подвалам и сараям. И только учащаяся молодежь проявила некоторую долю мужества. Школьники, с целью избежать порки за уничтожение царских портретов и пение революционных песен, устраивали в классах баррикады, проголодавшись, они выходили из своих крепостей и с пением революционных песен уходили в леса.

Взрослые готовились к более серьезному бою и вооружались, кто чем мог. Один из таких отрядов во главе с Германом Винтином, который много лет спустя был убит в борьбе за советскую власть на латышском гражданском фронте, вышел из города навстречу несуществующему противнику.

Из отдельных мест приходили вести о столкновениях с солдатами, казаками и карательными отрядами. Но они везде кончались поражением революционеров. При помощи об'явленного военного положения началась не борьба с революцией, а уничтожение всякого, кто появлялся на улице без страха на лице.

В Вольмар пригнали казаков, безобразиям которых не было конца. Они вламывались в обывательские квартиры, пьянствовали, насиловали женщин и девушек.

В декабре месяце казаки у нас на дворе устроили грандиозную попойку. Каким-то образом очутившись там, я долгое время молча наблюдал за ними, но потом расхрабрился и прервал какую-то их пьяную песню замечанием:

— Неужели вы не знаете новых песен, что поете такую старину?..

— Какие это новые песни? Говори, хлопец, затягивай!

— Подождите, я сбегая за ними.

Я побежал к себе и приволок тетрадку, где у меня были списаны революционные песни.

— Вот,—вскричал я, вернувшись с тетрадкой в руках, и затянул:

«Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах...»

Но меня совершенно неожиданно прервали неистовые крики:

— Ах ты, паршивец этакий! Тебе царя не надо?! Ты тоже бунтовать?! Голову ему срубить!

В пьяных казацких руках засверкали обнаженные сабли. Кто-то уже замахнулся. К счастью в это время вбежал старший брат, и ему кое-как удалось заглушить казацкий гнев. Началась торговля. Призвали отца, который за сохранение моей жизни вынужден был доставить им водку и пиво. Тетрадку с революционными песнями сожгли, а я от жалости заревел.

* * *

Все больше и больше бесчинствовали казаки. Однажды вечером в каком-то кабаке произошла ссора. Кабатчик попробовал уговорить бунтарей, но они набросились на него и нанесли ему до 15 штыковых смертельных ран. Первая кровь была пролита, и кровожадность их загорелась. Казаки выбежали на улицу и открыли беспорядочную стрельбу. К пьяным присоединились остальные казаки, находившиеся в то время в казармах. Всю ночь трещали ружейные выстрелы. Стали избивать и грабить мирное население. На утро стрельба прекратилась, и местные власти приступили к уборке с улиц раненых и убитых. На-ряду с казаками свирепствовал в городе и военно-полевой суд, кроме смертной казни ничего не признававший. Каждого, кто попадался, можно было заранее считать погибшим.

Помню такой случай. Приехавшие в город на базар два деревенских парня при встрече с патрулями в шутку обратились к ним: «Товарищи, дайте и мы постреляем». Этого было вполне достаточно, чтобы тут же на улице началось избиение. Их потом провели через весь город в казармы. С обоих ручьями лилась кровь, у одного было сорвано ухо. На следующий день оба были расстреляны.

Расстрелы происходили недалеко от города и привлекали массу зрителей. Наш дом находился на краю города. Как-то утром я подошел к окну и увидел недалеко толпу народа, ряды соладат и двух штатских, привязанных к столбам с завязанными глазами. Поднятые на прицел винтовки издают оглушительный треск,—и те двое..., замотав головами, повисают на своих веревках...

Многих не стало... Но там, где совершались эти убийства, остались могильные холмики, которые потом по ночам неизвестными руками украшались цветами и красными лентами. На этих холмиках народились первые большевистские кружки в тихом Вольмаре.

* * *

Социал-демократическая организация начала свою работу у нас еще в дни революции, но окончательно сформировалась только во время самой черной реакции 1906 года. Вольмарская организация насчитывала в своих рядах несколько десятков членов, главным образом учащейся молодежи. Из активных членов помню следующих товарищей: Э. Зарина, Я. Колнина, Элиас, Цалит, моего старшего брата, Германа Винтина. Кроме того, в вольмарской организации видную роль играл некий Дейчман, которого сильно подозревали в провокации. В конце-концов он был отстранен от партийной работы и совершенно выбыл из строя, поступив на службу в Риге в какое-то государственное учреждение, имеющее отношение к охране. В Вольмаре были также организованы и социал-демократические кружки среди учащихся. Помню среди этих юных революционеров двух братьев Смилга, учеников вольмарского коммерческого училища, из которых старший выдвинулся во время гражданской войны. В дальнейшем вольмарское революционное ядро, почти без исключения, частью погибло в борьбе, частью дошло с честью до великих октябрьских дней.

Поле деятельности в Вольмаре для партийной организации было очень небольшое. Пролетариата, как такового, там не было вовсе. Все внимание было обращено на обработку своих членов, на пропаганду среди учащихся и местных солдат.

У меня были кое-какие знакомые в воинских частях и, несмотря на то, что я тогда был очень молод, мне поручали распространение там нелегальной литературы. Передачей нелегальной литературы нащупывались революционные элементы и впоследствии через меня же была установлена с ними тесная связь. Как-то на свидание с одним солдатом со мной отправился Смилга старший или Балашов, как он тогда себя величал. Нас тогда чуть было не накрыли и не арестовали с полными карманами

прокламаций. О нашей работе узнала полиция и установила усиленную слежку; начались одиночные аресты. Свое участие в партийной работе я не мог считать важным и поэтому часто среди бела дня гулял по городу с полными карманами прокламаций. Но оказалось, что я попал в поле зрения полиции, и в один прекрасный день, в июне 1907 г., я был арестован на улице с поличным. Начались бесконечные допросы, сопровождавшиеся запугиванием: если я не укажу сообщников, то меня отошлют в Ригу, к Давусу и Грегусу, которые тогда славились на всю Россию своими изысканными истязаниями политических. Однако жандармы ничего не добились, в лапы истязателей я не попал, и мне пред'явили обвинение по 103,124 и 132 ст. ст. уголовного уложения. Через несколько дней дело должно было быть передано в судебную палату, и я бы отделался небольшой отсидкой. Но к несчастью, в это время провалилась вольмарская социал-демократическая организация, был обнаружен склад оружия и масса нелегальной литературы. Среди арестованных оказался и мой старший брат Федор. Благодаря этому жандармы решили, что к этой организации имею отношение и я. Дело было затребовано из судебной палаты и присоединено к делу вольмарской социал-демократической организации. Следствие тянулось около года, нам пред'явили обвинение по 102 ст. II части уголовного уложения и передали в военный суд.

* * *

Небольшая Вольмарская уездная тюрьма была переполнена политическими: нехватало не только коек, но и места на полу. Главную массу арестованных составляли аграрники, подразделявшиеся на батраков, беднейших крестьян и сельскую интеллигенцию (народные учителя и писаря волостных правлений). Большинство из них не были социалистами, они просто были увлечены ярким революционным порывом; однако в тюрьме из них незаметно вырабатывались сознательные социалисты. Тюрьму мы называли социалистической академией, и это было верно. Только со дня своего ареста я начал сознательно разбираться в партийных вопросах, до тех же пор я был просто захлестнут революционным под'емом.

Самый большой процесс подготовлялся военным судом по делу аграрников, которых насчитывалось до 70 человек. Среди них помню К. Луса, умершего после октябрьской революции в Москве, Аболтина, Бочу, Клуциса, Сирогиса, Силина и многих других. Все они, за исключением 4—5 человек, получили от 4 до 15 лет каторжных работ. После суда их из Прибалтийского края перевели в Петроградскую и Московскую каторжные тюрьмы, где многие умерли от тяжелых лишений и бесконечных

избиений. Только небольшая часть этого отряда каторжан дождалась революционного 1917 года и вышла снова на волю.

Второе по важности было Залисбургское дело, участники которого точно так же были отправлены на каторгу и на виселицу.

Никогда еще в Вольмарской уездной тюрьме не находилось столько кандидатов на виселицу и на каторгу, как в памятные дни 1907 и 1908 г.г. Их собирали целых три года. Многие скрывались еще в лесах, и на них устраивались облавы.

Вполне понятно, что среди этой массы неминуемо должна была возникнуть мысль о побеге. Устраивать одиночные побеги нельзя было, ибо каторга или смерть грозила всем, и уж если освободиться, так всем сразу. И план побега был разработан до мелочей. Было решено: открыть ночью изнутри одну камеру, вырваться в коридор, связать надзирателей, занять контору и открыть все камеры. Предварительная подготовка производилась в тюремной столярной мастерской, где готовились ключи для всех дверей, отделяющих заключенных от свободы и где под полом был устроен потайной склад вольной одежды и всевозможного оружия. В успехе не было сомнений. Тюрьма зажила нервной жизнью, пропал сон, пропал аппетит. Но вот все готово,—через день должна решиться наша судьба. И вдруг кто-то донес обо всем начальнику тюрьмы. В тот же день пригнали солдат, и начался повальный обыск. Несколько раз перерыли столярную мастерскую, но найти наш склад долго не удавалось. Наконец, стали ломать стены и пол. Труды их увенчались успехом,—все погибло: вытащили и ключи, и револьверы, и одежду. Начались репрессии. Человек пять-шесть, главным образом из нашего процесса, заковали в кандалы; остальных перевели на карцерное положение. Тюрьма в целом отрицала свое участие в подготовке побега и требовала доказательств или отмены наказания. Но протесты ни к чему не привели.

Мы не могли не подчиниться грубой военной силе и должны были отдать из своих камер все, что имели. Но дух протеста сохранился, и мы решили довести и без того взбешенное начальство до белого каления.

Наша тюрьма выходила на главную улицу, и если в тюрьме поднимался шум, то на улице все было слышно. И мы решили возбудить внимание обывателей, мы решили нарушить их мирный покой и, сговорившись, подняли во всех камерах неистовый крик. Толпы народа собирались под окнами тюрьмы. Ничто не могло нас остановить. Уставши кричать, мы принялись за пение революционных песен,—нам нечего было бояться, нам нечего было терять. Ночью, когда народ начинал засыпать, наши закованные в цепи товарищи начинали бить кандалами о пол, и звон

цепей разносился по спящему городу и пугал мирно почивающих.

Нас уговаривали, упрашивали, нам угрожали, что если мы не прекратим демонстрацию, будут приняты еще более решительные меры, но это ни к чему не привело. Приезжал даже из Риги (кажется, вице-губернатор) Звегинцев, но и он ничего не добился. Наказанные не поддавались ни угрозам, ни просьбам.

— Мы не успокоимся, пока нам не вернут старых прав, — заявляли мы.

В конце-концов администрация вынуждена была уступить. Нам вернули матрасы и пищу. Только закованные товарищи были оставлены в цепях.

Массовый побег был провален, и теперь началась разработка групповых побегов. Бежать стало труднее: охрана была усилена, и надзиратели стали относиться подозрительнее к каждому нашему движению. И тем не менее бдительность стражи удалось обмануть.

В одну из суббот несколько человек выломали в бане потолок и скрылись. Начальство не ожидало опасности с этой стороны, и вся стража растерялась: ведь побег произошел среди бела дня.

Только спустя несколько часов была организована погоня. Через два-три дня мы получили печальные известия: двое из бежавших были убиты каким-то лесничим. Он также обвинялся по Залисбургскому делу, но находился пока на свободе. Убийством товарищей он надеялся окончательно освободиться от всякой ответственности, но жестоко ошибся и понес двойное наказание. Перед судом его арестовали; в тюрьме он подвергался очень вразумительному назиданию своих однопроцессников. Суд однако принял во внимание заслуги его перед правительством и приговорил к одному только году арестантских работ; но по отбытии наказания на воле ему жилось несладко. Слава его разнеслась по всему краю, и кроме враждебного отношения, он ничего не встречал. Третий побег в Вольмарской тюрьме был еще менее удачен. В одной камере выломали большую дыру в дымовой трубе и через нее хотели выбраться на волю. Но первый же полезший товарищ застрял и был замечен проходившим мимо дверей надзирателем.

* * *

Большую память по себе оставил в Вольмарской тюрьме Аболтин, бывший студент, обвинявшийся по разным революционным делам. Ему грозила смертная казнь и, чтоб избежать ее, он решил симулировать сумасшествие. Это был человек железной воли. Почти год его держали на испытании в Риж-

ском сумасшедшем доме, следя за каждым его шагом. Правительству было достоверно известно, что он вполне нормален, но доказать это они никак не могли. Все испытания кончились в пользу Аболтина, и тем не менее его перевели в Вольмарскую тюрьму и решили предать суду. Но и здесь он продолжал изображать сумасшедшего и доводил своими выходками до бешенства надзирателей, которые в конце-концов стали сомневаться в его нормальности.

Проделкам т. Аболтина была очень рада вся тюрьма. Его выходки доставляли нам истинное наслаждение. На прогулках мы часто изводили надзирателей тем, что при помощи зеркала направляли на лица нелюбимых «зайчики», за которыми гонялся по всему двору Аболтин. С особенным рвением зайчики эти ловились им на лицах надзирателей. Вцепится он надзирателю в бороду и начнет его таскать по всему двору:

— А поймал хриstopродавца, поймал, поймал!

В руках Аболтина всегда оставался порядочный клочок надзирательской бороды. Аболтин обладал большой физической силой и очень часто во дворе тюрьмы устраивал «настоящее» избиение надзирателей.

Как-то раз на него в коридоре накинулись 4 надзирателя, чтобы надеть смирительную рубашку. Аболтин страшно рассвирепел и начал бросать надзирателей, как мячики; схватив одного из них поперек туловища, он так швырнул его в дверь, что она открылась, и надзиратель оказался на мостовой дворика.

Бой продолжался в течение нескольких минут. Одному из надзирателей было надето на голову помойное ведро, и он чуть было не захлебнулся гадостью.

Но были дни, когда Аболтин вел себя тихо. Необходимо было дать передышку вечно связанным членам. В эти минуты он закалял свою железную волю, стараясь, чтобы ни один мускул на его лице не дрогнул при сильных физических страданиях.

Выйдет на двор и на виду у всех возьмет зажженную толстую сигарку и начнет прижигать свое тело, которое покрывалось черной корой. Эти испытания он проводил с большим хладнокровием. Это было выше нашего понимания, и своими поступками он вызывал среди нас и восхищение, и удивление. Смертная казнь многим угрожала, но последователей Аболтина среди них не нашлось. Правда, только немногие знали, что Аболтин, чтобы быть более похожим на сумасшедшего, принимал всякие зелья, в том числе кокаин и белену. После этого ему уже не надо было притворяться, ибо принятое само вызывало целый ряд ненормальных выходок.

После долгой борьбы и с собой и с врачебными комиссиями Аболтину удалось спастись. Его в конце-концов признали невменяемым и выпустили на волю.

Двухлетняя симуляция, однако, оставила глубокий след: его стойкая революционная натура надломилась и от революционной работы он должен был отойти. Вскоре после своего освобождения Аболтин женился и совершенно исчез с наших политических горизонтов.

* * *

Немало толков вызывала в вольмарской тюрьме и другая не менее оригинальная фигура. К сожалению, я не помню его фамилии, но образ его, как живой, сохранился в моей памяти. Высокий юноша, лет 22-х, с длинными белокурыми кудрями, с бесконечной тоской в больших светло-синих глазах; оригинальное, не от мира сего лицо. В прошлом—уголовный бунтарь-преступник; в настоящем—святой, отдавший все идее освобождения человечества.

История его очень несложна. До революции он был конокрадом. Лошадей воровал он, правда, не у бедняков, не у крестьян, а по какому-то особому принципу только у помещиков, хотя это было труднее и опаснее. Но вот настал 1905-й год, и этот вор является на митинг в Залисбурге и публично кается: «Простите меня за мое прошлое, скажите мне, что вы меня принимаете в свои ряды, и я вам клянусь, что жизнь свою отдам за вас и ваше дело».

Это был крик измученной души. Его поняли и простили. И он оправдал свои слова. Самые опасные и безнадежные поручения выполнял он. Как-то на Залисбург двинулся карательный отряд. У залисбуржцев нечем было защищаться, но прощенный народом конокрад один пошел навстречу смерти, добыл винтовку и засел с ней в лесочке у дороги, где должны были пройти солдаты. Приближавшийся отряд был встречен огнем. От неожиданности солдаты растерялись и, полагая, что на них напал целый отряд, побросали оружие и бросились бежать, оставив на месте одного или двух убитых. Таким образом, в руки залисбуржцев попало оружие, которое потом было использовано для самозащиты лесными братьями. Этот юноша отдал себя в распоряжение революции безропотно и навсегда. Вместе с другими он был арестован и направлен в Вольмарскую тюрьму, каким-то чудом избежав немедленного расстрела. Он просидел под следствием около двух лет, в течение которых непрерывно вел революционную агитацию. С утра до поздней ночи он простаивал у тюремного окна, выходящего на улицу, и произносил бесконечные революционные речи. И мы, сидевшие рядом, и проходившие мимо тюрьмы вольмарские обыватели были страшно удивлены этим неиссякаемым источником красноречия. Его

сажали в карцер, заковывали в кандалы, но ничто не помогало, и он продолжал свою агитацию еще усерднее.

Начальник тюрьмы свободно вздохнул лишь тогда, когда его отправили, наконец, в Ревель на военный суд, который приговорил его за целый ряд революционных выступлений и действий к смертной казни через повешение.

Нам сообщили, что, отправляясь на казнь, он всю дорогу занимался «превращением» солдат в социалистов. Но это ему, очевидно, не удалось, ибо казнь все же состоялась.

Можно было предполагать, что он и палач начнет уговаривать бросить свое кровавое, позорное дело; но вместо этого случилось нечто неожиданное.

Спящий зверь проснулся от одного прикосновения подлой руки, и он, с быстротой молнии схватив палача за горло, швырнул его, а сам бросился бежать. Палач упал без памяти на-земь. Солдаты растерялись и замешкались, и только звон кандалов указал им направление.

Открыли стрельбу, организовали погоню. К сожалению, побег не удался. Он запутался в кандалах и упал. Снова привели к месту казни. Палач тем временем пришел в себя и с наслаждением затянул петлю потуже.

* * *

Во всех тюрьмах арестованные испытывали громадное удовольствие, если кому-нибудь удавалось удачно «поддеть» начальствующих лиц. Не отставала в этом отношении и Вольмарская. Предметом наших проделок был, главным образом, начальник тюрьмы. Это был неимоверно толстый, вечно пьяный и всегда озлобленный на политических суб'ект. Политические окрестили его «резиновым медведем», и эта кличка распространилась далеко за тюремные стены. Медведю прозвище страшно не нравилось, и он решил запретить произношение оскорбительной клички. Нам только этого и надо было, и при всяком удобном случае, когда необходимо было довести начальство до бешенства, мы обзывали его этим метким, но запрещенным именем.

Наш «резиновый медведь» ежедневно в определенный час обходил тюрьму и заглядывал через волчок в камеры. Кому-то пришла в голову блестящая идея составления черной мази из сажи и сала, которой в известный нам час были намазаны все волчки. После обхода «резиновый медведь» с измазанным лицом вызывал по дороге веселый хохот заключенных.

Доставалось порядочно и лютеранскому пастору, который приходил в тюрьму и всеми силами старался вернуть заблудших революционеров на путь истинный. При тюрьме была маленькая церковка, куда сгонялись на богослужение все арестован-

ные. И вот однажды в самом торжественном месте, когда надо было запеть какой-то псалом, мы дружно грянули марсельезу.

Еще более веселые вещи происходили во время допросов.

Важный жандармский ротмистр или полковник на вопрос: «Ты кто, революционер?», получал неожиданный ответ:

— Нет, я машинист.

— Такого ты знаешь?

— Нет.

— А такого-то?

— Тоже нет.

— Не может быть. Должен знать. А брата своего знаешь?

— Нет, не знаю.

— А мать?

— Нет!

— Ты что, такой-сякой? Прошу дурака не валять. Говори, кого знаешь.

— Я вас не трогаю, никого я не знаю и знать не хочу, так как я не хочу, чтобы арестовали моих знакомых. Никого не знаю. Отстаньте.

Жандармы с таким ничего не знающим побьются, побьются и в конце-концов плюнут. Ничего не добьешься.

* * *

Вольмарскую тюрьму постепенно разгружали. И по-одиночке, и целыми группами уводили наших товарищей и на каторгу, и на виселицы. Только очень немногие выходили на волю.

После года с лишним сидения пришла и наша очередь. Под громким названием «Первое вольмарское соц.-демократическое дело» нас отправили в Ревель на военный суд. Обвиняли всех по 102 ст., II ч. уголовного уложения.

В сентябре месяце 1908 года нас в количестве 7—8 человек посадили на поезд, и мы покатили в Ревель на суд. Защищать нас взялись в то время знаменитые присяжные поверенные— В. В. Беренштам, Соколов и Крестинский.

В ожидании суда нас посадили в Ревельскую следственную тюрьму. По сравнению с Вольмаром положение сильно изменилось к худшему. Всякая связь с волей была прервана, газет мы получать уже не могли. В самой тюрьме царил суровый режим. На прогулку выводили на несколько минут и по-одиночке. Со мной же случилась история несовсем приятная. Несмотря на протесты товарищей и мои, начальник следственной тюрьмы перевел меня в губернскую тюрьму в отдел малолетних. Там содержались исключительно уголовные, страшно испорченные ребята. Подружиться с ними я не мог, и, благодаря этому, они меня чуть было совсем не затравили. Первым делом стащили

у меня все, что я имел из вещей и продовольствия. Но этим не ограничились. Ночью, когда я засыпал, они вкладывали между пальцами ног бумагу и поджигали ее или привязывали к рукам веревку, другой конец которой прикрепляли к кувшину с водой, а последний пристраивался где-нибудь над моею головой. При малейшем движении кувшин срывался и падал мне на голову. Мои угрозы и мольбы ни к чему не привели, и после недельного нервного напряжения я решил прибегнуть к последнему средству.

Кончилось тем, что я схватил табуретку и начал их избивать. Одному прошиб голову, остальные забились в угол и подняли страшный вой. Это помогло. Прибежал надзиратель, а потом и начальник тюрьмы, и меня немедленно перевели в одиночку, а на следующий день отправили обратно в следственную тюрьму.

Однообразно проходили дни в ожидании суда. Только находящиеся в Ревельской следственной тюрьме смертники вносили некоторую тревогу в нашу оторванную от всяких житейских волнений жизнь. Особенно помнится один случай, когда приговоренные к смерти встревожили не только арестантов, но и тюремное начальство.

Человек 10 смертников во главе с т. Вога решили покончить с собою. Из нашего следственного отделения кто-то достал им морфия, который они решили принять ночью. Прошла мучительная ночь. Мы готовились к революционной панихиде по погибшим товарищам. Предполагалось в знак протеста об'явить однодневную голодовку и пропеть всем корпусом похоронный марш. Но привести это в исполнение нам не пришлось. Утром мы узнали, что яд оказался слабым, и наши товарищи отделались лишь сильными обмороками. Вторая их попытка окончилась также неудачно,—казнь состоялась. Вообще из Ревельской пересыльной тюрьмы почти ежедневно уводили и по одному, и по несколько человек на смертную казнь. На их место прибывали из Прибалтийского края все новые и новые партии кандидатов на виселицу. День и ночь работал военный суд, вынося бесконечные смертные приговоры, день и ночь работали палачи, приводя в исполнение постановления царского суда. Это была полоса непрерывных убийств, которые вселяли и ужас, и ненависть против существующего кровавого строя. При таких обстоятельствах, конечно, нечего было и думать о каких-либо развлечениях. Все ходили хмурые и невеселые. Только во время прогулок вызывал невольные улыбки один из надзирателей—длинный эстонец с удивительно тупым лицом. Стоило только взглянуть на него, чтобы против воли улыбнуться. Не знаю, насколько это верно, но старожилы тюрьмы рассказывали про него следующий случай. Как-то на первый день пасхи этот надзиратель стоял в тюремном дворе на посту. Начальник

тюрьмы рано утром прошел по двору здороваться и христосоваться с надзирателями; когда он подошел и к этой дубине и сказал: «Христос воскресе»!,—последовал ответ:

— Не могу знать, ваше благородие!

* * *

Но вот и день суда. За красным столом сидят человек семь царских палачей в военной форме. Они весело переговариваются, посмеиваются,—с трудом верилось, что эти люди отправили на смерть сотни себе подобных, что эти самые люди вынесут и нам суровый приговор. Наши защитники уверяли, что меня приговорят максимум к году крепости; предсказание, однако, не сбылось: вместе с другими я получил пять лет каторги. Правда, каторжные работы мне, в виду несовершеннолетия, были заменены пятилетним тюремным заключением. Остальные по процессу товарищи также были осуждены на каторгу. Мы выслушали этот приговор, повернулись и пошли с суда с пением «Смело, товарищи, в ногу!».

Каторжан заковали в цепи. Меня только переодели в арестантский костюм, от цепей я избавился. Через несколько дней нас перевели в губернскую тюрьму. Я страшно боялся, что меня снова посадят в камеру малолетних, но мои опасения не сбылись. Скандал, учиненный мной, не был еще забыт, и меня посадили вместе с каторжанами. В губернской тюрьме было свободнее, нежели в следственной: кое-как жить тут можно было. Время от времени мы имели возможность получать газеты через наружную охрану солдат. Кроме того, довольно свободно ходили по всей тюрьме. Нас еще не коснулось издевательство царских тюремщиков. Благодарить за это начальство, конечно, не приходится, ибо оно до поры, до времени не задевало нас не потому, что было убежденным противником насилия, а попросту из трусости. В самом деле, день и ночь мечтой начальника было прибрать нас к рукам; «соблазн был велик», и он не выдержал. В один прекрасный день он потребовал, чтобы при его проходах через двор во время прогулок мы снимали шапки, на его приветствие отвечали бы «здравия желаем, ваше благородие!», чтобы не лазили на окна и т. д., и т. д. Все эти требования были отвергнуты самым решительным образом. Началась борьба. Солдатам был отдан приказ стрелять по арестантам, если они появятся у окон. Кто-то из каторжан был даже ранен. Каторжане взбунтовались и потребовали губернатора. Через несколько дней он предстал перед нами. По-очереди обходил он все камеры каторжан (другие категории арестованных не принимали участия в этом протесте), выслушивал представи-

теля каждой камеры в отдельности. Очередь дошла до нас, и пред'являть требования пришлось мне.

Царский бюрократ, увидя меня, рассвирипел:

— Ты что, каторжанин?

— Нет, я не каторжанин и поэтому прошу меня не тыкать, — ответил я.

Разговор с губернатором даром не прошел. Через несколько дней мне об'явили, что меня отправляют в московские Бутырки. В моем сопроводительном листе было написано: «Принимал участие в бунте каторжан. Груб с начальством. Необходима строгая изоляция». И меня изолировали, посадив в одиночный корпус Бутырской тюрьмы.

В Бутырках пришлось пережить немало, но долгие годы сидения там в моей памяти оставили все-таки мало впечатлений, — очевидно, потому, что в Бутырках я был изолирован в полном смысле этого слова. За несколько лет сидения я почти не видел человеческих лиц. Я там был для всех совершенно чужой и, кажется, лишь год спустя я завел переписку со старостой соц.-демократической фракции, тов. «Витей». Ничего другого не осталось, как засесть за учебники и книги. Только чтением и зубрежкой я заполнял однообразную одинокую жизнь. Первое время я получал полное удовлетворение; но потом я заметил, что усиленные занятия повлияли на мое здоровье, сон исчез, но, чтобы скоротать бессонные ночи, приходилось снова браться за книги. А после девяти часов книги у нас отбирались до утра. Надо было прятаться и тайком от стражи читать, лежа, закрывшись одеялом. Благодаря такому напряженному чтению заболели глаза, и на целых две недели я совершенно потерял зрение. Сволокли в больницу, где я впервые снова увидел человеческие лица.

* * *

Все дни нашей одинокой жизни, как две капли воды, были похожи один на другой. Изю дня в день — одно и то же. Три раза открывалась форточка, в которую просовывался кипяток и обед. Раз в день выводили на двор на прогулку. И только изредка врывались неожиданный шум и тревога и выбивали из однообразной колен. Среди одинокого безмолвия и далекого позванивания кандалов вдруг раздавался безумный крик избиваемого товарища:

— Караул! Товарищи, меня избивают!

В таких случаях одиночный корпус оживал, и поднимался шум: стучали в дверь медными кувшинами, ногами и кулаками. Мы протестовали. Но наши крики и стуки не имели никакого действия на тюремное начальство. Избиваемого товарища во-

локли в карцер, и там продолжалось избивание. Зверское обращение тюремного начальства, во главе которого тогда стоял Кудряков, доводило нас до наивысшего нервного напряжения. Малейший шум или крик поднимал на ноги всех. Однажды ночью кто-то из спящих в одиночке во сне закричал не своим голосом. Этот крик разбудил многих. Никто не знал, кто и зачем кричит; тем не менее началась бешеная стукотня в двери. Этому способствовало и то, что в наших одиночках сидели смертники,—о своем уходе на казнь они всегда давали нам знать криком. Глубокой ночью защелкают замки, ввалятся в одиночный корпус солдаты и заберут кого-нибудь. Не было случая, чтобы увозили тихо. Смертники не выходили из камер,—их приходилось вытаскивать силой. Тогда мы просыпались, все прикипали чутким ухом к замочной скважине и дожидались прощального крика:

— Товарищи, прощайте! Меня уводят на казнь.

Во всех камерах начинался бешеный стук, а когда уставали руки и ноги, то принимались за пение «Вы жертвою пали...».

Как-то раз один из молоденьких помощников начальника, присутствовавший при отправке смертников на казнь, испугался нашего шумного протеста и стал бегать от камеры к камере, успокаивая нас:

— Господа, успокойтесь. Мы тут не при чем. Только на казнь отправляем смертников. Ничего не случилось. Пожалуйста, успокойтесь.

Этот трусливый царский служака никак не мог сообразить, что именно против казни своих товарищей мы больше всего и должны протестовать. Но мы знали, что делаем, и доводам этого господина не поддавались. Пение похоронного марша продолжалось, пока мы не выбились окончательно из сил.

* * *

Рядом со мной сидел долгосрочный каторжанин. Встречаться и разговаривать с ним мне совершенно не приходилось, но я чувствовал его присутствие сквозь стену. Почему-то мне всегда казалось, что он сильно страдает, что ему не по силам тяжелая каторжная ноша. И мои предчувствия сбылись. Однажды утром забегали надзиратели, открыли дверь моего соседа. Это было до проверки, и я решил, что с ним что-то случилось. Я прижался к дверям, и до моего слуха долетели следующие отрывочные фразы:

— Как же ты не доглядел?

— Повесился.

— Полотенце.

— Ноги поднял и держал, пока не помрет...

Я понял, что мой неизвестный сосед покончил жизнь самоубийством. Повесился он на паровой батарее, а так как она очень невысока, то он поднял ноги и держал их в воздухе, чтобы от этого не ослабела затянутая собственной рукой петля. Ноги после смерти не опустились.

Перед моими глазами и по сей день ясно встает фигура этого несчастного каторжанина, хотя я его не видел ни до, ни после смерти.

* * *

В Вольмарской и Ревельской тюрьмах мне очень часто за те или иные «прегрешения» приходилось сидеть в карцерах. Я сознательно не упоминаю о них, так как за исключением отсутствия света и постели они мало чем отличались от камер. Через подкупленных надзирателей в карцер передавалось все необходимое—вплоть до свечки, книги и матраца; только во время обхода тюрьмы начальствующими лицами из карцера все исчезало. Совершенно по-иному выглядели бутырские карцеры. Они находились здесь в особых почвах и в них всегда царили холод, сырость и тьма. Для многих частое и продолжительное сидение в бутырских карцерах кончалось заблеванием чахоткой или другими аналогичными болезнями.

В бутырский карцер я попал самым диким образом. Продолжая считаться политическим, я не захотел ни в чем унижаться перед властью имущими. Так, при входе в мою камеру разных начальников на казенное приветствие «здорово» я всегда отвечал «здравствуйте».

Дело кончилось так:

Молоденький Дружинин, брат знаменитого своими издательствами Дружинина, в один прекрасный день ввалился в мою одиночку и крикнул:

— Здорово!

Сперва я вздрогнул от неожиданности, но, посмотрев на него, я спокойно ответил:

— Здравствуйте.

— Ты что? Порядков не знаешь? Я тебе покажу! Отвечай начальству как следует, а не «здравствуйте»! Понял?

— Я понял только то, что вы мне тыкаете, тогда как я вас в первый раз вижу.

— Ах, ты, сволочь! Чтоб в следующий раз ты ответил как следует. Я тебя в карцере сгною.

Он ушел, захлопнув дверь. На следующий день он опять явился в одиночный корпус и направился в мою камеру.

— Здорово!—крикнул Дружинин, входя в мою одиночку.

— Здравствуйте.

— Отправить его на семь суток в карцер!

Через несколько минут его приказание было исполнено.

Я отсидел семь суток и вернулся опять в одиночку. Я страшно обрадовался дневному свету и одиночному уюту. Прошло не более часу, так как я еще не успел умыться как следует, как снова в мою камеру ворвался Дружинин.

— Здорово!

Я решил не отвечать ему вовсе, так как я чувствовал, что он поклялся сделать меня ручным. Я остался сидеть, что окончательно его взбесило. Началась площадная ругань, на которую я продолжал отмалчиваться.

— Отправить его обратно в карцер!

И снова я просидел семь суток и снова явился в мою одиночку тот же Дружинин:

— Здорово!

Он не получил опять никакого ответа.

— Отправить опять в карцер!

Я чувствовал, что недолго смогу продержаться. Уже после двухнедельного сидения в карцере у меня началось сильное головокружение и чувствовалась общая физическая слабость. К счастью, Дружинина вскоре куда-то перевели.

* * *

Долго тянулись дни, но незаметно прошли года. С одинокой жизнью я вполне освоился и досиживал свой последний год. Приближалось рождество 1911 г. Я высчитал, что мне остается сидеть немногим меньше года, и поэтому нашел возможным засесть за английский язык, чтобы кончить курс к концу срока. Но привести это в исполнение мне не удалось. В один прекрасный день ко мне вошел инспектор тюрьмы Захаров со словами:

— Если ты даешь слово, что больше участия в революционной работе принимать не будешь, то мы применим к тебе досрочное освобождение.

— Ничего я обещать не могу.

— Не можешь?

— Нет!

— Как знаешь. Все-таки подумай. Даю на раздумье недельный срок.

Захаров ушел, о всяких сроках я совершенно позабыл, и ясно, что никакого ответа ему не дал. Но не успел я пройти и нескольких уроков, как вдруг меня вызывают в контору — и не просто, а с вещами. Я все-таки был назначен какой-то комиссией к досрочному освобождению, и меня решили отправить на родину.

Первого января 1912 года я снова очутился в Вольмаре, — и уже на воле.

Следует ли говорить, что вольный воздух и леса не заставили меня позабыть о своем тюремном прошлом, о многочисленных мучениках, отправляемых на моих глазах на каторгу и на виселицу. Звон кандалов, предсмертные прощальные крики товарищей продолжали раздаваться в моих ушах и напоминать, что со строем, где возможны такие вещи, необходимо бороться до конца.

После пяти лет я снова очутился на воле, чтобы набраться сил для новых испытаний.

Ян. Грунт

Лодзинское „бюро“

С л е д с т в и е.

Процедура военного суда формально начиналась с момента перехода дела в руки военного прокурора, но, конечно, была в тесной связи с процедурой более ранних периодов карательного процесса: первичным следствием, проводимым следователем с помощью гражданского прокурора, и разведкой следственной полиции, которая собирала улики и на их основании начинала дело.

Действия исключительных положений и давали полиции особые полномочия.

Участие полиции в процессах, входящих в компетенцию военных судов, и роль ее становились прямо решающими, а методы работы полностью обуславливались гарантированной безнаказанностью.

Эти методы пользовались широкой известностью хотя бы уже благодаря сценам уличных арестов, производимых полицией и солдатами, выступающими под ее предводительством. Шпионы и полицейские били сами и наказывали солдатам бить арестованных кулаками, револьверами, прикладами по голове, по лицу, по затылку. То же самое повторялось затем в участках, волостях, а иногда, как, напр., в Лодзи, и в самой тюрьме.

Полиция задерживала арестованных для предварительного следствия. С этой целью в главных оперативных центрах, как Варшава и Лодзь, она расширяла специальные отделения, а именно, при бюро варшавского оберполицеймейстера—«охрану» и при бюро лодзинского полицеймейстера—«следственное бюро»; здесь-то и помещались арестованные. В других городах задержанных помещали в разных арестных домах и при различных канцеляриях, где полиция развивала свою следственную деятельность. Эта деятельность, сотканная из кулачной расправы и пыток, представляла неописуемо-адские муки в условиях голода и унижения.

В Варшаве и Лодзи, где «отделение» и «бюро» действовали постоянно, накапливался огромный «текущий материал». Люди, собранные в этих учреждениях, не только допрашивались по ведущимся в данный момент делам, но своими показаниями давали повод к начинанию новых. Вынужденные показания давали нужный для возбуждения дела материал, новые дела влекли за собой вынуждение новых показаний; арестованные давали новые обвинения, а эти обвинения давали новых арестованных.

Характер же, который носила эта зловещая цепь причин и следствий, иногда проявлялся в весьма ярких формах.

Военным судом в Лодзи судились по обвинению в убийстве Олесникевич и Минтус. Обвинение опиралось на показания допрашиваемого в «бюро» Васяка, переведенного потом в тюрьму и в результате повешенного за какое-то бандитское выступление.

Доставленный на суд в качестве единственного свидетеля по делу Олесникевича и Минтуса, Васяк отказался принять присягу в подтверждение своих показаний, мотивируя отказ тем, что показание он дал «по злобе», что оно ложно и что он не может, таким образом, присягать. Олесникевич же не только признался в инкриминируемом ему убийстве, но даже рассказал согласные с показаниями Васяка подробности. Эту странную согласованность взятых на суде назад показаний Олесникевич объяснил: его били в «бюро», чтобы он «признался». Он долго «держался», но, наконец, получил от Васяка записку, в которой тот ему «советовал», чтобы избавиться от плетей, «признаться в своей вине», и дабы он мог рассказать и подробности убийства (без чего его продолжали бы бить); Васяк сообщал ему детали своих показаний. Олесникевич под плетями послушался совета и рассказал подробности согласно записке Васяка. Несмотря на эти разъяснения, суд признал оба показания—Васяка и Олесникевича—доказывающими вину последнего, приговорил его к смерти и приговор был приведен в исполнение.

В Варшаве «следственное отделение» пользовалось наиболее громкой известностью и было наиболее активным в 1906 г. во времена знаменитого Грина. Но затем, м.-б. вследствие своей «славы», а может быть и вследствие судьбы, постигшей Грина ¹⁾, варшавское следственное отделение смягчило свою деятельность. Его заменили разные провинциальные застенки, слава о которых не могла так широко расходиться, и они-то и являлись поставщиками большей части жертв военных судов.

¹⁾ Убит бомбой в 1907 г.

Из подвизающихся на этой арене полицейских учреждений особенно отличались канцелярия губернского управления жандармерии в Радоме и ее начальник Гоффман. Во время допроса арестованных за убийство жандарм. ротмистра Михайлова, а также за покушения на Зубковского и Дымова Гоффман приказал жандармам выводить допрашиваемых в другую комнату для отсчитывания ударов, пока они не «признаются». Во время битья Гоффман останавливался в дверях и спрашивал палачей и жандармов, признался ли уже «допрашиваемый». Таким образом он вынудил у Кручека губящие его и других показания. Чидрысяка и Люстовского истязали безрезультатно.

С 1908 г., а именно со времени убийства Зильберштейна и учреждения временного генерал-губернаторства Казнакова, охватившего впоследствии всю Петроковскую губернию, наиболее широко и систематически развернуло свою деятельность лодзинское «бюро», ведя ее с неослабевающей энергией.

Оно стало самым ужасным, наиболее широко действующим застенком. Через него проходили сотни самых разнообразных людей: сознательные революционеры, члены националистических «боевых дружин», организованных национал-демократией, члены стихийно возникавших или создаваемых социалистическими партиями организаций самообороны от банд эндеков и шпииков. Больше всего проходило через бюро бессознательных людей, которых привлекли или лозунги экономического террора, или идеология различных возникавших партий: «рабочих», «максималистов», «анархистов-коммунистов» и пр.; наконец, люди, которых толкала на бандитизм нужда, вызванная потерей работы вследствие локаутов и кризисов промышленности. Через «бюро» проходили также профессиональные воры, разбойники и бродяги, из которых в период хаоса, созданного деятельностью Казнакова, образовались форменные банды. Эти последние являлись в «бюро» с женами, привлекаемыми за соучастие, хранение краденого и т. д. Встречались и шпионы-бандиты, и просто шпиики, которые, выслеживая политические организации, в то же время занимались и бандитизмом.

Рядом со всеми этими людьми в «бюро» попадали и совершенно невинные люди.

Уже само пребывание в лодзинском «бюро» было тяжким наказанием. Все арестованные в количестве нескольких десятков помещались в маленькой комнате, на площади 25 квадратных шагов, с одним окном.

Здесь держали по несколько человек. Тут же были и вещи, начиная от горшков, чашек, котелков и кончая подушками, одеялами пр. В этой тесноте все никогда не могли улечься одновременно—нехватало места. Предметами зависти

и особых хлопот становились места у стен, где можно было хоть опереться, особенно по вечерам; занявшие их счастливыцы боялись шевельнуться, чтобы не потерять места. Вся эта толпа толкалась, топтала друг друга, стоящие топтали сидевших, давили лежавших, а все без исключения топтали тряпки, котелки, хлеб и всяческую еду. О воздухе, о покрывающей всех и все грязи, о пыли, постоянно тучами носившейся в воздухе, — упоминать излишне.

Перед комнатой, где помещались заключенные, был еще коридор, где находился стражник; там отдельные личности помещались за плату. Там же помещались и проходившие через «бюро» женщины, для которых отдельного помещения не было. Можно себе представить результаты этого скопления людей при смещении полов. Положение осложнялось, наконец, водкой, дозволенной в этом учреждении. Поэтому пьянство (в дозволенных материальными средствами границах) и ничем неограниченный разврат процветали, последний стал и легальным. Часть заключенных, не принимавшая участия в этом пьянстве, принуждена была глядеть на все это.

«Допросы» происходили за стеной, в соседней комнате, так что все звуки, удары, стоны, крики и ругательства доносились до остальных заключенных. К ним же бросали после допроса избитую жертву, которая буквально валилась на других, и вытаскивали из их среды новую, так что каждый каждую минуту ожидал своей очереди. Эти «допросы» происходили систематически, ежедневно, по определенному расписанию. Часы допросов назывались «сессиями».

Агенты «бюро» — и те, что били, и те, что руководили истязаниями — собирались на «сессию» 2 раза в день; обычно «допросом» руководил сам начальник «бюро» Зуев.

Допрос на «сессии» начинался почти всегда страшным ударом по лицу и градом оскорблений за какое-нибудь с места в карьер инкриминируемое преступление. Если требуемое признание не получалось тотчас же, сыпались новые удары, толчки, обвиняемого рвали за волосы, за одежду, наконец, ошеломленного, растерзанного, клали на стол. На столе били резинами, обшитыми в кожу, спиральными пружинами, различно приготовленными прутьями. Но избиваемые не знали, чем их бьют. Этого не мог сказать почти ни один.

— Меня били, — рассказывали они позже, — но чем били, не знаю, не видел. Знали только, что вообще бьют резинами, кастетами, прутьями; каждый видывал эти орудия вблизи и издали, но не во время собственного истязания. Когда избиваемый терял сознание, его обливали водой. Если он, придя в сознание, проявлял признаки безумия, операцию прерывали, давая ему

отдохнуть. Были всегда по два палача, стоявших по обе стороны стола; остальные словно в железных тисках держали ноги, руки, заворачивали голову.

После 50, 60 ударов жертву, как кусок дерева, сразу ставили на ноги; если избитый падал, его поддерживали, если шатался, его толкали так, что он, как мячик, летал от одного к другому и снова спрашивали:

— Ты был? Стрелял? А откуда взял револьвер? Кто с тобой был? Не говоришь?.. Опять на стол!..

Опять на стол! Это «опять на стол» бывает обычно моментом, когда получается, наконец, ответ: «был, стрелял; всюду был, все делал... все, что хотите».

Составлялся протокол: признался, был, стрелял, револьвер получил от такого-то.

— Видишь, дурак! Разве не лучше было сразу сказать? Теперь уж только висеть будешь. Хочешь водки?

Водка лилась в «бюро» в том же количестве, что и плети, только не одновременно, а в промежутках между «сессиями». На самих «сессиях» она тоже не исключалась. Ею угощались палачи, поили ею свои жертвы, но это последнее не постоянно, а периодически. Зато между «сессиями» водка лилась в изобилии. Тогда в «бюро» атмосфера несколько разряжалась: в этот момент опасность не грозит. А в шесть часов? Но о шести часах никто не думал, а чтобы совсем забыться, глотал водку. За водкой можно было послать из «бюро» каждую минуту, водку приносили заключенным из дому с обедами.

Ночью тоже шло пьянство, особенно, если водки было много, если был какой-нибудь обильный источник.

Иногда водка заменяла плети. Некоторые дела снабжались специально средствами для следствия. Следствие об убийстве инженера Осташевского обильно поливалось водкой на деньги фабриканта Шайблера. Главного героя этого следствия, атамана банды Влосьцянского (кличка Александр), за три недели пребывания в «бюро» ни разу пальцем не тронули, но зато он просто купался в водке.

— Ну, Александр, что ты предпочитаешь? Плети или водку?— спросили его первый раз. Потом уже и не спрашивали.

— Александр, еще стакан: дашь одного?

— Давай! отвечал Александр. — Берите такого-то и такого-то.

Александр все три недели ел обеды из ресторана, по столько-то человек за обед, по одному за порционные блюда. Александр отвечал согласием на все приглашения. Во времена Александра в «бюро» выходило на 5—10 рубл. водки в день, и впоследствии многие из шпиков с сожалением вспоминали об этой эпохе.

— Вот мы водки-то налакались,—рассказывали те, что сидели в «бюро» с Александром.—Больше чем на сто рублей одной водки. А бывали и ликеры и ресторанные обеды. Александра водка погубила, но других, которых он засыпал, он теперь «чистит»¹⁾. Он всех «очистит». Ему уже все равно, себя-то не очистить! В 27 убийствах признался, да еще в скольких-то покушениях. «Налево»²⁾ попризнавался, во всем признавался за водку.

Александр был трус. Он был неспособен решиться на что-нибудь, угрожающее ему непосредственно. Зато в счет будущего он принимал на себя все. Все он принимал и насчет других. Всем было известно, что его слова не имеют никакой цены, что он совершенно невменяем. Все знали, что он не г о в о р и т попросту, а как эхо повторяет заданный ему вопрос, повторяет бессознательно и пьет. Сам он говорил только, когда нужно было сказать фамилию. Какую-нибудь фамилию он всегда находил. Иногда он думал, рылся в памяти. Иногда даже рассказывал, почему назвал такого-то. Раньше он был рабочим и любил часто болеть, а потом представлять различные требования к правлению. Было время, когда правильность требований должно было подтверждать рабочее представительство. Бывали «сукины дети», которые отвергали или уменьшали его требования. Почему теперь не выпить за их фамилию?..

Это было всем известно. И все-таки каждое слово Александра, за исключением его некоторых «откровенностей», записывалось.

Александр был «добрым малым»—водка при нем лилась, у «псов»³⁾ горло не пересыхало, зачем же было его лишаться? И его держали в «бюро», и все допрашивали, только бы допрашивать, а он отвечал. Наконец, его уже не спрашивали и он не говорил, а его держали в счет прежних ответов. Потом снова спросили и он снова ответил. Там дальше—все равно; ему уже все равно, а здесь хорошо. Ему хорошо,—и «псам» хорошо. Хорошо жилось. И для того, чтобы жить так, нужно было только всегда что-нибудь н а п и с а т ь, а вследствие этого людей в «бюро» все прибывало.

Прибывали люди, обремененные семьей. Прибывали рабочие от станков. Прибывали партийные товарищи. И... одни не признавались даже в «бюро», другие не выдерживали. Но показания Александра были на-лицо и о тех, и о других. Все со временем перешли к следователю.

¹⁾ „Очищает“—берет назад показание.

²⁾ Неправильно, в несовершеннолетних преступлениях.

³⁾ Агентов «бюро».

Потом числились за следователем на Длугой ¹⁾. Александр здесь ел по 2 обеда в день, а остатками угощал Фремеля ²⁾ и других приятелей. Ему приносили обеды жены тех, которые не признались, или признались, но брали назад показания. Он их «чистил». Все равно. Он сукин сын, он знает это и все это знают. Он запутал своих недругов. «Налево» запутал, он признает, что «налево», и «чистит». Все равно ему висеть, но хоть не с сухим горлом он ждет веревку.

— Фрмель, дружок, хорошенько, смотри, веревку намыль, сукин сын. Десять рублей за это ведь получишь. Видишь, и тебе со мной хорошо, мать твою... а я все равно, я все равно должен висеть.

Станислав Гаевский, по делу Александра и Александром засыпанный, был прямой противоположностью Влосьцянского. Смелый, терпеливый, выдержанный, он умел переносить страдания, умел вытерпеть всякую боль. Обвиненный Влосьцянским, очутившись в «бюро» и получив «по морде», он не пикнул. Когда его положили на стол и всыпали неизвестно сколько плетей, он молчал. Он был из тех немногих, которые знали, чем их били. Он пил водку вместе с Влосьцянским, но ничего не говорил. Пил между «сессиями», а на «сессиях» при пьющем Влосьцянском получал плети. Раз он хотел что-то сказать,—не признаться, нет, а так только от боли что-то ответить, но удержался. «Нет!—подумал он,—пусть следователь спрашивает, здесь я не говорю». И ничего не сказал. И даже не сердился на Влосьцянского. Тот—слабый. Но на основании только его обвинения приговорить не могут, а никто другой его не обвиняет и не обвинит. Гаевский просидел в «бюро» 22 дня, при чем его оставили в покое только последнюю неделю, а две недели его клали на стол по несколько раз в день, утром и вечером. Он выдержал. Потом Влосьцянский его «чистил». «Отчистил». Взял назад все обвинения, раз'яснил, почему наговорил на него. Что же? И ему лучше, чтобы Гаевский остался в живых, хоть отомстит. На «узнаниях» ³⁾ никто его не узнал,—не «купил», по тюремному выражению. Он смело выходил на все эти «узнания». Других около него «покупали», его—нет. Никаких улик против него не было. Следователь, после окончания следствия, зачитывая протоколы его показаний, показаний Влосьцянского и др.

¹⁾ Главная тюрьма в Лодзи, где держали кандидатов на военный суд и где происходили казни.

²⁾ Товарища по камере, провокатора, потом шпика, заключенного за бандитизм и исполняющего должность главного палача в тюрьме на Длугой на-ряду с другими шпионо-бандитами, также выступавшими в роли палачей.

³⁾ Очная ставка в тюрьме с вызываемыми из города свидетелями происшествия.

и протоколы очных ставок (предлагая ему подписаться, что все протоколы читал, понимает и не имеет ничего прибавить), ясно ему сказал, что против него нет никакой улики. Он знал, что против него нет даже обычного, данного в «бюро» и взятого назад у следователя показания. Знал, что вышел из следствия «начисто». Он ожидал суда, как освобождения. Казнаков его, конечно, сошлет административно, но что-ж из этого? Он вернется. Он ждал освобождения, ждал терпеливо, т. к. знал, что нужно выдержать. Дело его и Влосьцянского все откладывали, срок освобождения все оттягивался. Он терпеливо ждал.

Но когда, наконец, наступил суд, он получил веревку. Достаточно было указания пьяного Влосьцянского, которому никто не верил и которое он сам взял назад, показания, данного за водку,—и Гаевский пошел на виселицу.

Вот яркая картина из жизни «бюро».

Такими способами не исчерпывался, однако, метод, употребляемый для получения сознания. В числе этих способов, кроме битья, были и такие, которые можно назвать только пытками.

Так, в деле об убийстве Розенталя, по которому привлекались Витчак и др., истязали всех подозреваемых, но наиболее сильную огласку получила пытка Тыцеля. Ему вырывали по волоску усы и бороду. Когда Тыцель появился перед судом, на месте бороды и усов у него была одна кровавая рана. Ему выворачивали глазные яблоки. Пальцы у него были вывихнуты.

Обвиняемых по делу об убийстве Гутковской братьев Вальчаков и Новака опускали на несколько минут головой в ведро с помоями, навязывали им веревки на шею, привязывали их к «парашам», били железными прутьями.

Станислава Стасяка, приговоренного к смерти через повешение, так истязали в «бюро», что пришлось 5 месяцев лечить его в больнице, чтобы поставить перед судом и повести на виселицу.

Мы привели для примера несколько фактов и несколько фамилий... Списка всех, кто подвергался пыткам в лодзинском «бюро», привести невозможно, так как дело идет не о десятках, а о многих сотнях фамилий.

Число лиц, прошедших через лодзинское «бюро», определить очень трудно. Если принять, что в среднем в «бюро» содержалось одновременно человек 25, а среднее время пребывания там 2 недели, то окажется, что через «бюро» проходило в год приблизительно до 600 человек. Но число это преуменьшено, так как значительная часть проходящих через «бюро» оставалась там всего по нескольку дней. 2 недели сидели лишь те, у кого перед переводом в тюрьму должны были быть уничтожены следы истязаний, т.-е. те, к кому в «бюро» относились серьезно. Об общем числе попадающих в «бюро» людей,—а туда попадали все аресто-

ванные агентами «бюро» на основании получаемых ими показаний и уличной слежки,—можно было судить также и по тому, что большинство из них, признанные в «бюро» неподходящими для военного суда, по освобождении административно высылались, и число высланных в 1909 г. доходило до 2000.

Второй инстанцией процесса являлось *п е р в и ч н о е следствие*, имевшее своей задачей не только подбор всего материала, относящегося к инкриминируемому преступлению путем допроса подозреваемого и свидетелей и сопоставления показаний и обстоятельств, сопровождающих преступление, но и его юридическую формулировку. Следователь и контролирующий его прокурор постоянно натывались на результаты полицейского «следствия», т. к. подследственные брали назад данные полиции показания, мотивируя тем, что они были вымучены. Каждое взятое назад показание являлось фактом, непосредственно касающимся следствия, и, казалось, должно бы было заинтересовать следователя.

Но и следователи, и прокуроры игнорировали факт систематического об'явления ложными показаний, данных в полиции, как данных исключительно с целью спастись от истязаний, и не старались проверить мотивы, являющиеся в каждом данном случае фактом огромного значения, ибо сознание преступника—лучшее юридическое доказательство.

Не было случая, чтобы и следователь, и прокурор протестовали против злоупотреблений охранки и старались предупредить их. Иногда эти господа вдруг интересовывались отдельным случаем истязания заключенного, но не в связи с непосредственными своими обязанностями, а из обыкновенного любопытства. Был случай, что вечером в тюрьму на Длугой в Лодзи привели из «бюро» на следующий день после истязания некоего Яна Сумевского. Это произошло вследствие того, что в тот же день его навестил прокурор. Сумевский пожаловался ему, и прокурор, «тронутый» судьбой Сумевского—только Сумевского, велел немедленно перевести его в тюрьму на Длугой. Начальник тюрьмы Моделевский, который сам часто бил заключенных, а в подведомственной ему тюрьме заключенных били и в канцелярии, и в камерах стражники, комната которого была разукрашена нагайками, с которыми разгуливали служащие, также заинтересовался необычным переводом Сумевского на Длугую, велел ему раздеться, осмотрел следы истязаний и на другой день демонстрировал его врачу и случайно прибывшему на допрос следователю.

Все они очень живо интересовались этим фактом при осмотре, но этим все «расследование» и ограничилось.

Моделевский, всегда готовый при случае «услужить» Зуеву как и каждому другому своему товарищу по работе, и уверенный в таких же их чувствах по отношению к себе, приказал даже тюремному врачу написать протокол осмотра, чтобы в случае поворота в судьбе Зуева и со своей стороны помочь его падению.

Но поворот в судьбе Зуева не наступил, «бюро» под зорким надзором навещающих его прокуроров спокойно продолжало свою деятельность, «меченные» следствием заключенные по-прежнему неделю содержались «на излечении» или отсылались для длительного лечения в больницу, где иногда лежали по нескольку месяцев.

Почти к каждому следствию «бюро» присоединяло акт «добровольного сознания в вине» и почти к каждому делу доставляло свидетелей в лице своего начальника Зуева, который под присягой подтверждал, что эти сознания делались заключенными без принуждения.

Но сам факт постоянного об'явления ложными своих показаний после выхода из «бюро» был слишком характерен.

Это предупредили способом очень простым, делающим честь находчивости лодзинских следственных учреждений. Раньше, с момента перехода дела к следователю, обвиняемого тотчас переводили в следственную тюрьму, и это спасало его от возможности повторения пыток. Впоследствии заключенного стали оставлять в «бюро» до окончания следствия, в лучшем случае— до допроса у следователя. Таким образом угроза пыток продолжала висеть, и он не смел сказать следователю, что показывал ложно под страхом истязаний.

Средство оказалось прямо чудодейственным.

Обвиняемые или молчали, или подтверждали данные в следственном отделении показания. Ужасная действительность раскрывалась только на суде: люди, которые собственными показаниями сами приговорили себя к смерти, только здесь, пред лицом суда, осмеливались говорить правду.

Но в это время судьба обвиняемого была уже обычно решена, притом достоверность показаний становилась сомнительной именно благодаря тому, что они давались так поздно. Одни судьи—искренне, другие—неискренне задавали подсудимому вопрос, почему он подтвердил свои показания перед следователем, ведь следователь не пытал его? Подсудимый в этом случае мог ссылаться уже не на пытки, а на страх пыток, а эта ссылка не была достаточно убедительной.

Ф. Кон.

„По указу его величества...“

К а з н ь.

Обращение с приговоренными, начиная с момента приговора, в Варшаве и Лодзи было различно и зависело от характера репрессивной деятельности в обоих этих центрах и от общего обращения с заключенными, среди которых находятся приговоренные.

В Варшаве приговоренных держали в X павильоне Цитадели, где внутренняя и внешняя (от окружающего мира) изоляция заключенных была очень строгой. Эта двойная изоляция приговоренного во все время суда и после суда до самого момента казни приводила к тому, что заключенный чувствовал себя плотно, как стеной, окруженным враждебными силами, словно бы похороненным заживо и отрезанным от мира живых, которые, в свою очередь, получали о нем скудные и далеко не всегда правильные известия. Никому не было точно известно, в каких условиях проходили последние минуты осужденного. Только по некоторым признакам можно было заключить, до какой степени была враждебна атмосфера, до самого конца окружавшая заключенного: некоторые, например, слышали, как тотчас после произнесения смертного приговора, еще в зале суда, жандармский офицер Массальский, помощник известного Вонсяцкого, рассказывал приговоренным, как палач накинёт им петлю на шею, как они будут задыхаться на виселице; бывали также случаи грубого обращения с семьями приговоренных, приходившими на последнее свидание.

До момента утверждения приговора единственным лицом, не принадлежавшим к темным силам, был адвокат. Он являлся последним человеком, который приносил приговоренному вести с воли и связывал его с жизнью. После того, как приговор принимал законную силу, осужденных переводили в отдельный флигель X павильона, в камеры, находившиеся в так-наз. «смертном коридоре». И оттуда лишь изредка, как слабое эхо,

доносились до живых вестей о последних мгновениях ожидающих виселицу.

При казни присутствовали только немногочисленные чиновники.

На следующий день после казни газеты, да и то не все, печатали короткую, часто неточную или искаженную фамилию осужденного, заметку: «Сегодня на склонах Цитадели казнены такие-то и такие-то». Из газет город узнавал об уже совершившемся факте. Часто, когда немногочисленные интересовавшиеся этим газеты такой заметки не помещали, никто кроме ближайших родственников не узнавал о судьбе осужденного.

В Лодзи все это происходило совершенно иначе, частью — в зависимости от разницы между самим характером Лодзинской тюрьмы и Х павильона в Варшаве, но в гораздо большей степени в виду особенностей репрессивной деятельности Казнакова.

Казнаков, принимая после убийства Зильберштейна под свое владычество Лодзь, Лодзинский и Ласский уезды, придал своей деятельности характер какой-то карательной экспедиции и этот характер удержался, несмотря на продолжительность его работы. Во время периодических сессий, продолжавшихся от недели до двух, казни происходили почти ежедневно и являлись чуть не публичным зрелищем.

Казнаков в момент своего прибытия в Лодзь заявил, что поставит виселицу на Главном Рынке в Лодзи, и хотя он обещания не выполнил и поставил ее на внешнем тюремном дворе, но тем не менее на виду у всего города, т. к. этот двор отделялся от города только досчатым забором; виселица стояла в самом центре, на углу Длугой и очень оживленной Константиновской улиц, так что снаружи была видна ее часть, а из окон арестованных — вся виселица целиком.

Деятельность Казнакова, оплачиваемая и открыто поддерживаемая буржуазией, производилась под видом борьбы с бандитизмом.

Явно служа целям классовой борьбы буржуазии, она, как таковая, была направлена к полному уничтожению всех способных к сопротивлению элементов рабочего класса и замене их новыми рекрутирующимися несознательными пришельцами из окрестных деревень.

Направленная к массовому уничтожению активных рабочих и окрашенная социальной тенденцией, деятельность Казнакова вызывала специфическое кровожадное настроение во всем лодзинском буржуазном и бюрократическом мире и была рассчитана на мировую огласку, долженствовавшую вызвать панику и неразлучную с ней деморализацию.

Вся явность, вся бравада отвратительнейшей стороны деятельности Казнакова была обусловлена этим настроением и служила его целям. Даже такое учреждение, как «бюро», предназначенное для разведки и в виду этого заинтересованное в изоляции своих жертв от внешнего мира, ярко нелегальное в своих жестокостях, поддерживало с внешним миром до такой степени тесный контакт, что содержало своих заключенных на пище, приносимой из дому, и при этом допускало свидания арестованных с приносящими еду.

В связи со всей этой публичностью в Лодзи возникла и полная явность суда и казни; в связи с открытостью общей жестокости—обыденность суда и казни для города и прежде всего для тюрьмы.

Люди, которых во время судебных сессий ежедневно таскали на суд, т.-е. на смерть, до последнего момента содержались в тюрьме вместе с другими арестованными в больших и маленьких камерах, в которых арестантская масса разделена была только чисто внешне. Каждый день во время судебных сессий из разных камер выводили людей на суд, равный самой смерти, и они, словно уже приговоренные, прощались с остальными заключенными. Каждый день в разных камерах получались обвинительные акты, тотчас отдаваемые адвокатам, каждый день поздним вечером накануне суда читались списки людей, уже изученные наизусть.

Только с суда, уже после смертного приговора, осужденных переводили в отдельную камеру, освобождаемую перед каждой сессией суда и прозванную «камерой висельников». Но и это не прерывало их контакта с тюрьмой. Тем не менее, только в этой камере начиналась относительная изоляция, ибо здесь их держали, как приговоренных, отдельно и обращались с ними иначе.

Стены новой камеры сразу приветствовали новых приговоренных маленькими и большими предсмертными надписями прежних обитателей. Здесь список приговоренных по какому-нибудь делу с датой приговора и датой казни, вписанной заранее в ожидании исполнения; опять список по тому же образцу и следуют подписи отдельных приговоренных. В числе фамилий казненных попадают фамилии тех, кому приговоры были смягчены, но они не успели исправить ошибки, т. к. узнали об этом смягчении за минуту до казни товарищей и тотчас после этого покидали камеру.

Приговоренные приносили с собой собственное настроение и не поддавались настроению упадка. Это было настроение борьбы и гордого презрения к жалким методам противника, с которыми последний связывал свою победу. Сумма судебного насилия, какое всегда совершалось на суде над беззащитностью

подсудимых и над бессилием их защитников, всегда действовала ободряюще на обреченных. Даже у виновных в уголовных преступлениях подлость суда вызывала чувство собственной правоты.

Перед подсудимыми «суд» вместе со всеми учреждениями следствия и разведки вставал, как один огромный аппарат убийства, которому никакое право не в силах противостоять. Насилие с начала до конца. Это насилие, называемое судом, вызывало презрение лицемерием своего имени. В подвергающихся пародии суда людях презрение к силе, которая их убивала, вызывало гордость.

Чувство презрения и отвращения охватывало также и присутствовавших на суде солдат, и они заражали им товарищей из стражи и конвоя. Солдаты видели эту судебную бойню, и хотя, быть может, и сами не раз убивали на улицах, таким хладнокровным убийством возмущались все же до глубины души.

— Вишь, сукины дети, — шептали они сквозь зубы по адресу судей, шпионов, прокуратуры и всей неопределенной темной силы власти.

Больше всего от них доставалось солдатам, свидетелям обвинения; а эти последние, не будучи в силах перенести направленных на себя, полных ужаса взглядов и бросаемых вполне явно упреков, даже не пробовали открыто защищаться, а только такую же сквозь зубы цедили, словно про себя, оправдание:

— Будешь показывать, когда... | |

Сочувствие солдат еще больше поднимало дух подсудимых.

Свое настроение они выносили на улицу и часто тут же, перед воротами дома, где происходил суд, бросали улице окрик:

— Мы приговорены к смерти! — и пели «Красное Знамя».

Эту же бодрость и презрение они приносили и в «камеру висельников».

Гробовое молчание охватывает всю тюрьму, когда в коридоре раздаются шаги приговоренных. Тишину раздирает их громогласное сообщение:

— Товарищи! Мы приговорены к смерти.

Слова словно заглушают на мгновение шаги приговоренных, а когда они смолкают, шаги еще тяжелее грохочут по коридору.

Сначала в «камере висельников» царит тишина, но вскоре она рассеивается; приговоренные немного привыкают к своему положению. Жизнь до последней минуты остается жизнью: после нескольких замечаний о суде начинается стук в дверь и быстрое, услужливое на этот раз появление стражника.

— Сахар, хлеб, миски, котелки, — диктуют приговоренные.

Стражник посылает прислуживающего, и тот молчаливо сносит все требуемые вещи, а вместе с ними и гостинцы от

прежних товарищей, ушедших на казнь: сохраненный домашний обед, пирожное, апельсины, папиросы.

Вдруг дверь неожиданно с обычным шумом открывается и, словно действительность после сна, до такой степени внезапно, раздается голос «старшего».

— Ну, идите.

Приговоренных, только два часа тому назад приведенных с суда, снова ведут туда, в суд, для вторичного прочтения приговора.

Только после этой процедуры возвращения в «камеру висельников» обреченные освобождались, наконец, от кошмара суда и горечи испытываемого надругательства. Все уже кончилось, все прошло, нет никакого суда. От него остался только приговор, какой-то с каждым персонально связанный документ, который в течение 24 часов войдет в силу и завтра принесет плод—смерть.

Среди приговоренных бывали самые разнообразные люди: и революционеры, и бандиты, и люди, которые не были ни революционерами, ни бандитами.

Пред лицом смерти сглаживались все различия между приговоренными, ибо все умирали, как жертвы злого, несправедливого строя, все чувствовали, что их убивает именно он.

И вдруг из чьих-то уст вырывается песня:

«Но час настанет неизбежный, неумолимо-грозный суд!..»

Они поют некоторое время без помехи, но вот стражник пробует водворить тишину.

— Ну, чего вы там кричите,—говорит он в глазок, пытаюсь казаться твердым, но явно неуверенный в своей власти.

— А что, может, нельзя?!

— Не знаете, что в тюрьме петь не полагается?

— А что нам сделают? — Пение продолжается...

Следующий день, последний день жизни, приговоренные обыкновенно отдавали семейным делам: писали письма, виделись с родными. Местом, где заканчивались эти последние дела со светом, являлась канцелярия, куда каждый ходил по нескольку раз. Только под вечер, после окончания свиданий, порывались их последние связи с миром.

Но у мира еще была связь с камерой: с суда прибывают новые приговоренные. Вчерашние тюремные однокашники, оставленные «на завтра», снова делаются на несколько часов товарищами.

Но хотя новое свидание совпадает для приговоренных с последним прощанием с жизнью, в тюрьме нет никаких приготовлений к ожидаемой экзекуции. Нет даже уверенности, что она произойдет. Только в последнюю минуту приедет от Казнакова офицер и привезет распоряжение о приведении приговора

в исполнение. Приедут все, кто должны присутствовать, и экзекуция совершится.

— А может быть офицер сегодня не приедет?—вопросительно виснет в воздухе.

И еще один вопрос с очень сомнительным ответом:

— А вдруг офицер привезет помилование?

И хотя приговоренные не обманывали себя относительно этого, но все же до последней минуты не было покоя, не было даже печальной уверенности в смерти. Утвержденные или смягченные приговоры офицер приносил только вместе с распоряжением о казни.

Уже поздно вечером, для тюрьмы чуть не ночью, между 10 и 11 часами, когда в тюрьме тихо, как в гробу, но никто не спит, раздается пронзительный звук звонка у ворот: будут вешать. Потом раздаются многочисленные звонки: к тюрьме под'езжают извозчики.

Во внутренний двор, куда выходят окна всех камер, стягивается отряд солдат, слышно, как они выстраиваются. Солдаты занимают все коридоры в обоих этажах. Перед каждой камерой становится часовой, которому приказано стрелять в камеру, если он услышит там крик или шум.

Звуки солдатских шагов и команда, это—последний признак неизбежности казни, это—признак уже самой казни.

Всюду мертвая тишина, тишина, которую слышно. Все заключенные, прижавшись к своим тюфякам, в темноте слушают.

Извозчики все под'езжают, у ворот раздается звонок за звонком. Это подкатывают большие и меньшие «вельможи». Их набиралось множество: одни по обязанности, другие поглядеть.—По рассказам свидетелей, палачей и помощников доходило до двух сотен. Приезжали всяческие начальники и чиновники различных родственных тюрьме учреждений: прокуратуры, жандармерии, полиции, офицеры из «бюро», из разных канцелярий, участков, начальники других тюрем, включительно до простых шпионов, допускаемых на казни.

Вся эта банда толпилась, в зависимости от чина, в канцелярии, в части коридора, ведущей на внешний двор, во дворе у виселицы.

Только палач не приходил извне, ибо находился в тюрьме. Это был обычно кто-нибудь из сидящих за бандитизм палач-шпик. Таких было в тюрьме несколько: пара в «шпионской», но не исключительно в шпионской камере, пара отдельно, вместе с другими заключенными. Их имена: Фремель, Ипполит Посреднический, настоящее имя которого было Фаддей Рыхлинский, Махталович—сапожник из Балут и др.

Они сидели вместе с заключенными, которых впоследствии должны были вешать, будучи, впрочем, и сами кандидатами на виселицу. Заключенные, посаженные с палачами, принуждены были общаться с ними; и одни после ряда долгих дней привыкали к этому, другие боялись шпиков-палачей; не оскорбляли их, чтобы они не отомстили, не «засыпали», третьи старались даже быть с ними в хороших отношениях, чтобы те не «паяли». А время делало свое—приучало. Приучало ко всему, что выдумывал Казнаков, приучало, делало обыденными и все результаты этой учебы.

Прямо из камеры такой шпик-палач, после рюмки водки, поднесенной в канцелярии, выходил на экзекуцию, одевался в коридоре в красную ситцевую рубаху до колен, в красный капюшон, закрывающий голову и лицо, и ожидал.

Ожидали в тюрьме все заключенные и приговоренные.

Зловещие гости входили в «камеру висельников» не тотчас после появления в коридоре солдатской стражи. Они должны были сначала собраться все, а приговоренные ожидали. Ожидали заключенные в других камерах, скорчившись в темноте на своих сенниках. Но приготовления к казни продолжались так долго, шорохи, доносившиеся из коридора, были так редки и так трудно было понять, что они означают, вслушивание в тишину, хотя столь многозначительную, было так утомительно, что еще до выхода приговоренных из камеры возникал шум в голове, полусознательное состояние, и, наконец, в то время, как за дверями происходили приготовления к казни, людей охватывал сон.

Вдруг среди тюремной тишины, изредка только нарушаемой невольными движениями солдат в коридоре, пронизывающе раздаются громкие, быстрые, уверенные шаги нескольких людей и направляются в конец коридора. Затем слышатся звук открываемого замка и скрип двери. Потом снова смешанные шаги, шаги на месте и другие шаги, тихие, неуверенные, через весь коридор. Это из камеры «свежих» приговоренных, тех, что «на завтра», выводят в камеру рядом, служащую карцером, и запирают там, а потом выводят тех, кому приговор смягчен, и снова ведут через весь коридор в какую-нибудь из общих камер. Остаются только те, кто должны быть сейчас казнены.

В «камеру висельников» вносят стул и стол, на котором ставят крест и свечу. Входит священник, двери камеры закрываются.

За дверями, в коридоре, уже тише производятся дальнейшие приготовления: строятся люди, которые должны провожать заключенных в последний путь, в том числе палач с веревкой и куском холста в руках.

Наконец священник слабо стучит в дверь, чтобы выйти из камеры. Если священник замешкается, стучат извне, чтобы он поторопился.

Двери открываются, и ксендз с приговоренным выходят. Палач неожиданно набрасывает приговоренному сзади холст на глаза и связывает ему руки.

При большом количестве приговоренных палач обыкновенно ожидал у подножья виселицы, а приговоренных приводили партиями: по двое, по трое.

У виселицы прокурор проверял личность заключенного, спрашивал его об имени и фамилии.

С часами в руках палачи держали тело на виселице предписанные 30 минут, затем спускали на скрипящем блоке вниз. Трупы, опираясь о землю ногами, сначала сгибались в коленях, потом падали. Врач констатировал смерть. Уголовные, сидящие в той же тюрьме, отвязывали тела и клали на телегу.

До казней по приговорам второй судебной сессии (в марте 1906 г.) трупы закапывали на тюремном дворе. Там находится 7 могил казненных в феврале и двоих казненных в марте. Потом стали вывозить трупы в Константиновский лес, где их под конвоем закапывали уголовные.

В тюрьме на Длугой был получен казнаковский «приказ по тюрьме», в силу которого отбывающие там наказание должны были, по приказанию начальства, помогать при казнях. В случае сопротивления власти имели право принудить их к этому силой оружия. (На это приказание сослался начальник тюрьмы Моделевский, когда Ковальского, который предупредил, что не позволит себя вешать шпику, повесил вместо шпикиа тюремный повар, сидящий по приговору ¹⁾).

Около двух часов ночи все кончалось: запертые в карцере «неправомочные», т.-е. те, что остались «на завтра», приводились обратно в «камеру висельников»; палач и помощник возвращались в свои камеры. В тюрьме—тишина и спокойствие.

Только палач и помощники рассказывают в камерах о подробностях казни. На завтра об этом узнавала вся тюрьма.

Ф. Кон.

¹⁾ Это смешение палаческих и поварских обязанностей было, впрочем, обыденным явлением: палач Фремель постоянно занимался выпиской, т. е. еженедельными покупками заключенных, которые потом разносил по камерам. Это принуждение людей принимать хлеб, сахар, чай из рук палача и шпиона в одном лице являлось чем-то ненаходящим аналогии в истории человеческой жестокости, искусстве нервировать заключенных и топтать в них общечеловеческие инстинкты. Ужасающую путаницу, которую казнаковские методы вносили даже в наиболее потерявшие природное равновесие организмы, трудно себе даже представить.

Телесные наказания ¹⁾.

Снова пытки и стоны... На этот раз в Псковской тюрьме...

Истязания приняли столь варварский характер, что даже реакционная пресса осудила их, как выходящие за пределы «границ узаконенной суровости».

Розги, карцер, клетка стали в этой тюрьме нормальным, повседневным явлением. Приговаривали к розгам, и приговоры приводились в исполнение за то, что заключенные принадлежали когда-то к революционным партиям и что еще когда-либо в будущем могут к ним принадлежать; за то, что они евреи, что не доносят на своих товарищей по несчастью, что не желают пребывать с сыщиками и провокаторами; за то, что чувствуют себя еще людьми и не допускают издевательства над человеческим достоинством; даже за то, что смеют голодать и даже жаловаться на плохую пищу.

Избивали до потери сознания, избивали больных и здоровых, истерзанных физически и нравственно бросали в карцер, запирали на целые недели в клетки, лишая даже скудной тюремной пищи, не давая по целым неделям горячего, держа истощенных пытками и тюрьмою на хлебе и воде.

Короче говоря, применялись все возможные и невозможные средства, чтобы доконать побежденных в борьбе. Не будучи в состоянии покрыть виселицами все пространство от Карпат до Тихого океана и удушить врагов при помощи веревки, царизм с полным пониманием своих действий приказывает заключенных всевозможными средствами.

Ни протесты в виде голодовок, ни самоубийства заключенных, ни просьбы и жалобы, ни пунктуальное исполнение всех предписаний тюремного режима, ни голос независимой русской зарубежной печати, ни протесты, наконец, гуманитарных организаций Запада не изменяют системы уничтожения заключенных.

¹⁾ Перепечатано из журнала «Więzień Polityczny», № 5, апрель, 1912 г. Краков.

Царское правительство знает, что делает и к чему стремится; вновь усиливающееся революционное движение еще более его раз'яряет. Поэтому-то и прибегает оно к пыткам и истязаниям, дабы небольшим усилием избавиться от всех, кто может когда-либо снова стать в ряды борющихся.

Наивный самообман, что «народное представительство» в лице 3-й Думы выступит хотя бы во имя народного и государственного достоинства против столь цинично применяемого знаменитого принципа «горе побежденным», рассеялся совершенно. Большинство Думы ясно отдает себе отчет, что правительство, беспощадно уничтожая «врагов правопорядка», уничтожает вместе с ними и тех, кто во имя интересов масс угрожал их собственным интересам, и не только одобряет мероприятия озверевшего царизма, но идет значительно дальше и выражает сожаление, что заключенные в каторжных тюрьмах не повисли сразу на перекладинах.

Уши большинства членов 3-й Думы заткнуты ватой классовых интересов; они глухи к стонам истязуемых.

С этой стороны истязуемые могут ожидать только еще больших мук, а в лучшем случае—более скорую смерть.

Вера Фигнер в отчете парижского комитета помощи политическим заключенным констатирует: положение заключенных в течение прошлого 1911 года еще более ухудшилось, и приводит ряд подтверждающих фактов.

Публично совершаемые царизмом и регистрируемые честной заграничной прессой массовые зверства, все более ужасные и циничные, вызывают чувство ужаса и возмущения повсюду и приковывают внимание всего мыслящего мира, заслоняя собой скрытые тюремными стенами, а потому менее бьющие в глаза истязания заключенных.

Когда читаешь об истязаниях людей за попытку поделить с товарищем по несчастью щепоткой табаку, когда слышишь об избиении розгами сердечно-больных и чахоточных, невольно обращаешь внимание, что без малейшего намека на вину со стороны заключенных их подвергают жестоким наказаниям и истязают, не смотря на болезнь, а к здоровым людям телесные наказания и всякие истязания применяются, как средства, яко бы получившие право гражданства.

Такого рода подход к этому явлению льет воду на мельницу царизма, готового итти на известные «уступки» возмущенному общественному мнению—перестать истязать умирающих, сократить истязания здоровых; он готов даже вовсе не применять избиения к уже сломленным, строго выполняющим тюремные правила товарищам, дабы на основании закона и *tacito consensu* сознательной общественности, он мог вгонять в могилу тех, кто даже в тюрьме остаются свободными духом, даже в тюрьме

остаются и хотят оставаться людьми, защищая свое достоинство, нарушают царские уставы, нарушают закон.

В 1889 году, когда после истязания Надежды Сигиды заключенные посредством самоубийств протестовали против применения телесного наказания к политическим, местные власти по распоряжению свыше повели следствие так, чтобы протест этот представить в виде возмущения телесным наказанием *ж е н щ и н ы*, а не политических заключенных вообще. Они готовы были в крайнем случае отказаться от порки женщин, составляющих едва ли 10% всего числа заключенных, лишь бы сохранить его по отношению к остальным 90%. В настоящее время эта тенденция готова вновь повториться с громадным ущербом для общего дела, для тех, кто и за тюремной решеткой не перестает быть человеком и борется за право человека.

Борьба, начинаемая Западом, не может вестись под лозунгом защиты больных или с точки зрения царизма невинных. Ее краеугольным камнем должен быть принцип, что по отношению к политическим заключенным, по отношению к людям, борющимся с царизмом во имя идеи, — здоровы они или больны, исполняют они или не исполняют правила каторжного режима, — розги, карцер, клетка и все вообще наказания, оскорбляющие человеческое достоинство, применяться не могут.

Под этим знаменем и только под ним можно и должно организовывать всех, искренно желающих уничтожить позор наших дней — систему борьбы царского правительства с людьми, принесшими свою жизнь в жертву свободе.

Феликс Кон.

1905 г. в казармах, крепости и тюрьме.

Для меня, свидетеля и участника 1905 года, ясна необходимость поделиться с читателями своими сведениями о движении в 1905 г. в войсках Петроградского округа. Но когда я начинаю вспоминать отдельные странички этого тяжелого года меня охватывает страшный, как кажется, ненужный стыд,— не переоцениваю ли я эти мелкие факты?.. Ведь какими мизерными кажутся они рядом с грандиозными событиями нашего времени. Но не с точки зрения последних лет надо подходить к оценке 1905 года—ведь тогда еще стояла гранитная стена самодержавия, правда, на подмытом уже фундаменте, но настолько, казалось, крепкая, что нужны были десятки лет упорной работы, чтобы окончательно свалить ее. Наши товарищи не остановились перед этой трудной задачей: сперва малыми, а потом все большими и большими силами, шаг за шагом, подбирались они под этот гранит и... в результате Россия стряхнула с себя трехсотлетние оковы. Из мелких фактов революционной работы в войсках складывается революционный фактор гигантского значения: распропагандированная армия, смахнувшая спустя 12 лет самодержавную куклу. Мы должны знать эти факты, оценить и помнить, что не только партийные товарищи творили дело революции, но и незаметные «беспартийные» делали свое дело и так же шли в каторгу, ссылку, тюрьмы и дисциплинарные батальоны.

1. Военная электротехническая школа 1902—1905 г.г.

Поступив новобранцем в электротехническую роту при школе, я был зачислен сперва в телеграфный, а затем в минно-подрывной класс, который и окончил в 1904 году первым учеником. В школу направлялись более развитые новобранцы из губернских городов: телеграфисты, техники и машинисты, и надзор над ними был более строгий, чем в других частях войск: внезапные обыски повторялись очень часто не только со

стороны высшего начальства, но и со стороны своих же товарищей-взводных, желающих выслужиться. Но свободную мысль обысками не удержишь, и 9-ое января 1905 года заставило нас глубже заглянуть в окружающее, и мы, электротехники, решили связаться с революционными работниками...

Наша связь с партийными товарищами была организована т. т. Сергеевым, Зенгловичем и др., фамилии которых забыл, и летом 1905 года в лагерях в Кронштадте мы решили на «экономической почве» узнать солидарность своих остальных товарищей.

В лагерях нас кормили щами из очень кислой капусты. Все ворчали,—мы этим воспользовались. Однажды, когда был дан сигнал на обед, все пошли с котелками на кухню. Взявшей, все за немногими исключениями вылили их на землю... Дежурный по роте доложил дежурному офицеру, тот в свою очередь—высшему начальству. Сейчас же электротехническая рота была выстроена и вр. и. д. начальника школы полковник Богданович, опросив всех, почему не ели, начал опрашивать каждого в отдельности. Дойдя до меня, он получил ответ:

— Если в эти щи положить цинк, «уголь», то «бусоль»¹⁾ даст отклонение; я не желаю электричества в желудке и вылил щи.

Спросив всех, полковник скомандовал:

— Кто не доволен, два шага вперед!!!

Стоя на правом фланге, я видел, как рота развернутым фронтом, как лента, покачнулась и вся до одного сделала два шага вперед. Недовольными оказались все, а потому нас не решились трогать. Но меня и некоторых других взяли на заметку и стали следить. Если принять во внимание, что однажды в лагерях на «вечере» в присутствии начальства я выступил со стихотворением, в котором осмеивалось командование дальне-восточной армии, то понятно, что я попал в форменную опалу и был даже лишен отпуска. Нас, близко стоящих к этой «кухонной» забастовке, ободрила полная солидарность товарищей.

Осенью, когда мы возвратились из лагеря в Петроград, начались рабочие волнения на электрических станциях, и нас, как электротехников, послали на работу на эти станции, платили деньги, давали хороший обед, колбасу и пиво. Но, несмотря ни на что, один из наших товарищей, фамилии которого не помню, подсыпал песку в динамо и вывел ее из строя. Когда получены были деньги за работу на станциях, мы, устроив собрание, постановили отчислить часть в пользу бастовавших рабочих, выбрав делегатов и послав их с письмом и деньгами.

1) Прибор, показывающий присутствие тока в минной цепи.

Делегаты обошли все редакции, в которых принимались отчисления, но письмо нигде не хотели печатать. Наконец, наше письмо появилось в печати—в газете «Вперед».

Несмотря на манифест 17 октября, волнение в войсках не прекращалось. Во многих войсковых частях стали предъявляться требования. Мы также устраивали собрания и беседы с солдатами, связавшись с л.-гв. саперным батальоном, и обсуждали требования других войсковых частей.

Собрания все учащались. Фельдфебель Гарбуз донес об этом командиру роты, капитану Жерве, и тот стал часто посещать нас и устраивать обыски. 11-го ноября запретил нам выход со двора, но мы потребовали отпуск, и треть всего состава роты ходила в отпуск 12-го и 13-го ноября; тов. Сергеев получал инструкции для дальнейшей работы от партийных товарищей.

2. 14-ое ноября. Восстание школы.

Придя с парада (был царский день) и прочитав в газете требования артиллерийской бригады из Гродно, мы устроили собрание. Я встал на стол, читал каждый пункт требования, и только после одобрения и внесения поправок всей ротой т.т. Иванов и Зенглович записывали постановления, составив, таким образом, 31 пункт «Требований нижних чинов электротехнической роты, составленные 14 ноября 1905 года»; далее шли пункты, в которых были и «политические». Под'ем у всех был колоссальный: мы понимали, что теперь уже все равно вышли из повиновения начальству и назад нам дороги нет...

Часа в три в роту явился капитан Жерве и просил нас успокоиться. Но мы требовали к себе для об'яснений и пред'явления требований инспектора инженерных войск, бывшего великого князя Петра Николаевича. Выслушав нас, Жерве сказал:

— Дайте мне ваши требования, я передам начальству.

Мигом избрали делегатом т. Овощникова. Передавая Жерве нашу резолюцию, он сказал:

— Вот 31 пункт требований, от которых электротехническая рота не отступит.

Взяв бумаги, Жерве ушел. После этого все начальство разбежалось, оставив нас полными хозяевами всей школы. Главными руководителями были т.т. Овощников, Сергеев, я, Зенглович, Токарев, Иванов, Нестеров и др., фамилии которых забыл ¹⁾.

¹⁾ Обвинительный акт, все письма и заметки хранились мной, но на Кавказе в 1919 г. они, при аресте меня добровольцами, были конфискованы; думаю, что в архиве военно - окружного суда в Петрограде за 18-20 января 1906 г. дело есть, тогда оно было напечатано подробно в газете „Новое Время“.

Наша школа находилась в центре Петрограда—на углу Садовой и Инженерной улиц, имела большие запасы пироксилина, ручных гранат, пороха и других взрывчатых веществ, а потому усмирять нас открыто боялись и пошли на обман.

Опять пришел Жерве со своими уговорами. Некоторые товарищи кричали:

— Убить его!

Около 5 часов дня он пригласил нас в 3-й этаж, в общий зал, говоря, что сейчас приедет великий князь. Ничего не подозревая, все отправились наверх. Выходя из помещения роты последним, где находились винтовки, я сквозь открытые форточки услышал во дворе щелканье затворов; быстро вскочив на подоконник, я увидел солдат л.-гвардии Павловского полка и только успел крикнуть:

— Товарищи! Павловцы на дворе...

Капитан Жерве взял меня за руку и сказал:

— Теперь все кончено, иди наверх!

Павловцы входили уже с ружьями наперевес и забирали из пирамид наши винтовки... Когда мы очнулись раздетыми и безоружными, нам было приказано спуститься вниз во двор, где нас тотчас же окружил батальон Павловского полка с заряженными винтовками, и командир полка генерал Щербачев командовал:

— Смирно!! Кто двинется,—на месте будет приколот штыком!

Из окна помещения роты были выброшены наши шинели и было приказано одеваться. Под этим громадным конвоем вывели 120 человек мятежников со двора. Уже темнело... Когда мы вышли на Марсово поле, была жуткая тишина, нарушаемая только четким топотом идущих в ногу солдат... Никто не знал, куда ведут... Я же думал, не в «Кресты» ли?.. Но за Троицким мостом послышалась команда:

— Правое плечо вперед! Прямо!

Перед нами были «Иоанновские ворота» Петропавловской крепости. Куранты на башне встретили нас боем—шесть... и после того много дней слышали мы их бой и музыку «Коль-славен».

Посадили нас в общую камеру с прочными решетками (ранее в ней, видимо, был цейхгауз), темную, сырую, с асфальтовым полом. Мы начали коротать свои дни. Вскоре к следователю вызвали двоих и куда-то увели. Мы потребовали к себе комендантского ад'ютанта и заявили, что если их обратно не приведут, то разобьем все стекла и больше не дадим ни одного. Через полчаса уведенные возвратились, и мы имели возможность сговориться, как давать показания, при чем слабым, трусливым товарищам предложили отказаться и сказать, что они ничего

не знали и не участвовали в восстании. Скоро выяснилось, что таких было 14 человек, их вскоре освободили. Гарнизон крепости отказался нас охранять, и к нам были приставлены надежные гвардейские войсковые части не только снаружи, но и на внутреннем дворе. Внутри помещения был также введен надежный часовой, которого нам иногда удавалось расположить к себе. Он брал письма и бросал их в почтовый ящик, к нам же с воли попадали записки в ведре с песком, которое приносил сторож-старик, служащий в крепости. Скоро начальство узнало о нашей связи с внешним миром, и режим стал строже. Из-за тесноты спать на спине мы не могли, а приходилось лежать боком, касаясь друг друга. Развелась масса насекомых, распространилась цынга, у некоторых, в том числе и у меня, началась экзема, подступившая к ушам и глазам. Мы подали докладные записки и просили отправить нас в больницу. Записки комендантом крепости были направлены к командующему войсками петроградского военного округа, бывшему великому князю Николаю Николаевичу, который положил на них следующую резолюцию: «Собакам—собачья смерть. Николай», что нам и было об'явлено комендантским ад'ютантом, полковником Веревкиным.

Назначенный нам казенный защитник, капитан Сыртланов, милый человек, избрал меня посредником для переговоров между ним и остальными 106 солдатами.

В начале января 1906 года нам был вручен обвинительный акт на 13 страницах, напечатанный в типографии, размером в целый лист писчей бумаги и озаглавленный: «Обвинительный акт о 106 нижних чинах Электротехнической роты Военно-Электротехнической Школы, преданных С.-Петербургскому Военно-Окружному Суду Начальником Школы за преступления, предусмотренные 110 и 111 ст. Уложения о наказаниях».

18 января 1906 года, в 8 часов утра, под усиленным конвоем нас вывели из Петропавловской крепости и провели в здание школы, где была назначена выездная сессия военно-окружного Суда. Суд длился три дня. Председателем был генерал Томашевич, вынесший до того немало смертных приговоров, обвинителем—помощник прокурора подполковник Ильин. После речи прокурора мне казалось, что нам не миновать расстрела, в лучшем случае—каторги, так как были приняты во внимание и летняя лагерная забастовка, и сбор денег в пользу бастовавших рабочих в октябре месяце. Только благодаря созыву 1-ой Государственной Думы репрессии правительства временно ослабли и тяжелая кара миновала нас. Все мы вели себя стойко и заявляли, что поступали сознательно, вожаков у нас не было, что мы готовы отвечать каждый сам за себя. На суде вскрылись все нужды солдат и не только экономические, но и полити-

ческие, и мы знаем, что если и пострадаем, то другим солдатам будет легче. Последнее заседание кончилось в 12 часов ночи. Во время речи защитника нас удалили, а затем суд ушел на совещание.

Во время перерывов нас уводили в камеру, где около каждой койки стоял часовой л.-гв. Семеновского полка. Перед приговором мне не спалось, нервы были взвинчены до крайности. Я вступил с часовым в разговор, стал его расспрашивать о поездке Семеновского полка (во главе с полковником Риманом) в Перово на усмирение. Часовой разговорился и в заключение заявил:

— Полковник Риман нас дорогой целовал, дал по рублю, но зато мы уже постарались,—я не щадил трехлетних детей...

Тут я не выдержал и сказал:

— Братец, у тебя на штыке кровь!

Он спросил:

— Где?

Я ему ответил:

— Не ищи, она человеческая...

Часовой дал свисток, прилетел плюгавенький офицер в сюртуке на красной подкладке. Я притворился спящим; часовой доложил наш разговор. Офицер толчком разбудил меня и начал мне грозить, на что я ответил:

— С арестованными часовому уставом запрещено разговаривать.

Тогда часового беззвучно убрали и приставили нового. В 4 часа утра один солдат, под видом воды, принес в чайнике водки. Я выпил стакан для храбрости, хотя до этого никогда водки не пил. В 5 часов утра нас вывели в общий зал: «Суд идет!». Генерал Томашевич с орлиным взглядом шел впереди, и мне казалось, что этого человека я не забуду всю жизнь. Приговор гласил, что мы, все 106 человек, признаны виновными и приговорены по лишению унтер-офицерского звания к отдаче в дисциплинарные батальоны на срок от одного года до трех лет и в тюрьмы на разные сроки—до 8 месяцев.

Слабость приговора, как я уже сказал, об'яснялась созывом 1-ой Государственной Думы. Через две недели после суда над нами судили солдат в г. Николаевске за то, что они отказались идти в караул. Большинство из них было расстреляно... Я был осужден на три года. Тут же после чтения приговора я начал срывать унтер-офицерские нашивки и галуны. Но мне подошел наш полковник Богданович и, схватив меня за руки, приказал прекратить демонстрацию, говоря, что суд может прибавить срок за оскорбление мундира; пришлось повиноваться...

3. Этапы: от Петербурга до Кавказа, 1906 год.

За хорошую обвинительную речь товарищ прокурора, подполковник Ильин, был произведен в полковники с назначением военным судьей в Польшу, а защитнику капитану Сыртланову приказано было подать в отставку, ибо его речь начиналась так:

— Господа судьи, перед вами стоят солдаты армии, которая будет у нас через двадцать пять лет,—и т. д. Конец речи был произнесен в закрытом заседании, когда мы были удалены из зала. Впоследствии капитан Сыртланов был членом 3-й Государственной Думы от Уфимской губернии. После суда нас, осужденных от 2 до 3 лет, посадили в комендантское управление, где режим был, как в военной тюрьме... Одновременно с нашими были пред'явлены требования в л.-гв. саперном батальоне, с которым мы имели связь, но там дело ограничилось домашним арестом без предания суду. В Преображенском полку это вылилось в более крупную форму, и целый батальон гвардейцев был расформирован по пехотным частям.

Из комендантского управления нас перевели в гражданскую пересыльную тюрьму на Казачьем плацу. По приходе туда мы слышали выстрелы: стреляли часовые в окна заключенных, сгоняя их с подоконников. Тогда же была убита одна политическая—учительница. После одного дня пребывания в пересыльной тюрьме мы были отправлены в Москву в Бутырки. Выдали новые шинели и мундиры для следования на Кавказ, в Екатериноградский дисциплинарный батальон. В Бутырках нас, 26 человек, посадили в одну камеру; во время прогулки мы подошли к воротам маленького дворика при Пугачевской башне, где тогда сидели Гершуни, Сазонов, Мельников, Сикорский и Карпович,¹⁾ которые в это время привезли для башни дров. Ворота были открыты, они бросились к нам в об'ятья. Мы вкратце об'яснили им свое дело и рассказали, что делается «на воле», чем, я думаю, подняли их настроение. Свистки жандармов вызвали конвой; товарищей водворили в башню, ворота закрыли, прогулку запретили, нас тоже погнали в камеру. В это время товарищи из других камер унесли меня на руках к себе для рассказов о «воле», и я только через час попал в свою камеру. В это время в Бутырках было сравнительно свободно. Через несколько дней нас отправили в Курск. На вокзале нас провожала московская учащаяся молодежь, и одна гимназистка, подойдя ко мне близко, бросила букет роз, за что чуть не поплатилась: конвойный замахнулся на нее шашкой.

¹⁾ Они сказали нам, что сидели в Шлиссельбурге, а теперь их отправляют в Акатуй.

В апреле 1906 года мы прибыли в Курскую тюрьму. Снова всех посадили в одну камеру, конвойный офицер аттестовал нас начальнику с плохой стороны; на этом основании начальник тюрьмы воспретил нам прогулку, а главное, нам хотелось узнать, кто еще из товарищей сидит в этой тюрьме. Из нашей камеры 1-го этажа был виден весь двор, окруженный одноэтажными зданиями тюрьмы, а вдали деревянный забор отделял двор женской тюрьмы.

Решетки в окнах были широкие, но прутья были из квадратного дюймового железа, и я после вечерней поверки, случайно просунув голову между прутьями, не мог вытянуть ее обратно. Тогда у меня явилась мысль вылезти на тюремный двор и обойти все одноэтажные здания и там, где окна открыты, передать записки, чтобы товарищи завтра поддержали наш протест против запрещения прогулок, при чем мы условились петь революционные песни по-очереди: один корпус кончает, — сейчас же начинается другой и т. д.

Но, пролезши на половину груди, я в решетке застрял. Товарищи разорвали на мне суконный мундир и рубаху, но дальше я все-таки не двигался: железо врезалось в грудь, и ничего не оставалось, как больно рвануться вперед, что я и сделал. Спустившись во двор, окровавленный, я обошел всех, незаметно передал записки и вернулся ко входу в тюрьму. Часовой окликнул меня и дал свисток. Вышел дежурный помощник и задал вопрос:

— Откуда ты? На поверке оказались все на-лицо

Я ответил:

— Не виноват, что у вас широкие решетки, а вы запрещаете прогулки...

За это я был посажен в холодный карцер. На другой день вся тюрьма по-очереди распевала революционные песни. Наконец все стихло. Пришел надзиратель и выпустил меня на прогулку, где я увидел всех своих и много новых товарищей, которые, оказывается, потребовали моего освобождения. Здесь, в тюрьме, мы познакомились с Наумом Коганом, арестованным по делу романовцев в Якутске. Этот старый партиец восторгался нашей жизнерадостностью, и в последний день пребывания в Курске нам передали от него письмо, до сих пор оставшееся у меня в памяти:

«Дорогие товарищи, не могу спать всю ночь: стоят передо мной ваши славные, чудные лица, я чувствую рукопожатие ваших смелых свободных рук, грудь моя полна чувств, для выражения которых нехватает человеческих слов, и рука невольно тянется к перу, хочется еще немного побыть с вами, говорить с вами, передать хоть часть того, что чувствовал и чувствую. Еще раз переживаю те острые и невыразимо силь-

ные чувства боли, удивления и счастья, какими я был полон вчера, прощаясь с вами; мне представляется тот тернистый путь, который вы уже прошли и который вам еще впереди предстоит перенести, но, видя в вас бодрость и веру в правое дело» и т. д.

27-го апреля 1906 года, в день созыва 1-ой Государственной Думы, мы знали, что было секретное предписание обращаться с арестованными гуманнее. В этот день нас отправляли из Курской тюрьмы на вокзал для следования в Харьков, и когда мы вышли из тюрьмы, то грянули «Смело, товарищи, в ногу». Конвойный офицер подлетел ко мне (я был с краю в 1-ом ряду, и он знал, что я выбран старостой от нашего коллектива) и приказал молчать, угрожая револьвером; но мы не переставали. Тогда он, выругавшись, сказал:

— Вы знаете, что к вам нельзя применять оружие, и своевольничаете, так я вас дойму». — И он повел нас не через город, а кругом, по вспаханной земле; а, придя на вокзал и посадив в вагоны, сделал обыск и отнял табак.

28-го апреля на платформе Харьковского вокзала мы отказались нести на себе свои вещи, побросав их на пол, чем заставили конвойного офицера нанять подводу. Придя во двор тюрьмы, слышали крик уголовных: «Зарезали!»; и, действительно, из кухни выносили человека — жертву уголовных. Эта картина на время отравила наше бодрое настроение, да и к тому же за наше поведение в дороге нас, электротехников, посадили в сырую камеру в полуподвальном помещении, где пришлось пробыть двое суток на хлебе и воде.

В 12 часов в ночь на 1 мая пришел надзиратель и приказал выходить. Мы вышли в большой коридор, где в это время было 7 политических и около 200 человек крестьян-аграрников и 20 уголовных. Начали читать и передавать «арестантские листы» новому конвойному офицеру; моя фамилия была первой, я вышел. Начальник тюрьмы крикнул: «Наручни!» Я не понял, что это значит, и отошел в сторону. Но когда вызвали второго нашего товарища, конвойный солдат подошел к нам и сказал.

— Давайте ваши руки.

В руках у него были цепь и замок.

Тут мы поняли в первый раз, что значит «наручни». Я начал кричать и обращаться к своим товарищам, призывая их к солидарности, а начальнику тюрьмы крикнул:

— Тебе на нас не надеть наручни! Мы — не уголовные, у нас есть погоны и с наручниками на вокзал мы не пойдем.

Начальник, посоветовавшись с конвойными офицерами, распоряжение отменил. Дальше мы также вступились за 7 политических арестованных, и им также наручни были отменены. Когда сдача и прием кончились, всех вывели во двор тюрьмы. Была тихая ночь. Пахли белые акации, город словно вымер...

Выйдя на улицу и услышав команду «шагом марш», мы, как один, грянули «Вихри враждебные». Это была поистине величественная картина, которую во всю жизнь забыть нельзя. Под'ем у всех был колоссальный.

Пришли на Харьковский вокзал; нас рассадили по арестантским вагонам, и мы двинулись в сторону Ростова. По дороге днем приехали в Таганрог. На платформе была масса учащейся молодежи, восторженно встретившей нас. Через решетку приветствуя их, мы в то же время издевались над от'евшимися жандармами, разгонявшими учеников с платформы. 3-ий звонок... свисток паровоза,—и к вечеру мы уже в Ростовской пересыльной тюрьме. С дороги уснули прямо на полу в большой камере. Утром видели и слышали, как через несколько кварталов в белом здании (как нам передавали, в «арестантских ротах») заключенные били стекла, выбрасывали поломанные табукеты, матрацы и кричали: «Прокурора»... Видимо, это был очередной протест против тюремных палачей. Нас это еще более одушевляло, и когда нам запретили прогулку, то мы, расположившись на полу, хором запели. К окну подошел начальник тюрьмы с криком:

— Я вам дышать не дам. Замолчать!..

Я, поднявшись на локтях, ответил:

— Научись сначала говорить, а потом надень свою «селедку» (шашку) и фуражку и приходи с нами разговаривать!

Не прошло и 5 минут, как он явился в нашу камеру в сопровождении конвойных солдат. На команду «встать, смирно» из нас никто не встал, а я, лежа, по должности старосты, сказал:

— Мы—солдаты, и чиновникам чести не отдаем, а если ты наспустишь на прогулку, то петь перестанем.

Пошел сильный дождь. Увидав это, он разрешил прогулку, а нам уже не хотелось отступать от своих слов. Мы вышли и промокли до костей. Через несколько дней мы были отправлены на станцию «Прохладная», куда прибыли ночью. Конвоя, который должен был сопровождать нас до дисциплинарного батальона, еще не было, и нас засадили в станичную «холодную», где мы пробыли до утра. Утром пришел конвой, и нас 26 человек погнали степью 18 верст в станицу Екатеринодарскую, в дисциплинарный батальон.

В батальоне встретил нас начальник, полковник Дидебулидзе, со шкурами (фельфебелями), опросил всех, обыскал, отнял все вещи, деньги, табак и дал старые рубахи и шинели без погон. Здесь только-что было восстание и расстреляли 30 солдат, а потому строгость была страшная: каждое утро донага раздевали и приказывали расставлять ноги и раскрывать рот, и фельдфебель лез руками и осматривал, нет ли чего недозволенного

Дальше шли строевые занятия без винтовок, потом работы на огороде.

По предписанию из Петербурга, мы были помещены в отдельный корпус. Зная, что я грамотный и хорошо пишу, полковник Дидебулидзе приказал мне заниматься в канцелярии батальона, за тюремной стеной. Однажды я увидел на стене карту Владикавказского округа. Не долго думая, я скопировал карту и принес в помещение, где, показав всем своим товарищам, отдал ее т. Сергееву. Когда была назначена команда «За песком на речку», т. Сергеев и еще один, фамилии которого не помню, выпросились у фельдфебеля тоже за песком. Пришли на речку «Малку», стали купаться, а т. Сергеев говорит фельдфебелю:

— Нам купаться доктор запретил, пустите на 10 минут в этот лесок, — говорят, здесь много земляники.

Фельдфебель отпустил. Но вместо искания ягод, вдвоем с картой они переплыли речку и попали в селение к чеченцам, которые их накормили и отправили на подводе во Владикавказ, где они явились в партию. Их одели, дали денег и отправили в Россию для дальнейшей работы на нелегальном положении. После побега стало еще строже. А когда они с дороги стали присылать на мое имя открытки за подписью «Маня и Оля», то начальство, догадавшись, что я все знал и один мог способствовать их побегу, лишило меня занятий в канцелярии. Дорога от Петрограда до ст. Екатеринодарской сделала нас социалистами в душе, и каждый мечтал работать дальше, но пока у нас не было руководителей.

Жили дружно. На уроках закона божьего задавали священнику каверзные вопросы, а уроки учили плохо. Батюшка говорил, что ему по закону предоставлена в батальоне большая власть, что он может за хорошее поведение освободить ранее срока, но мы знали, что от него свободы не получим. Я познакомился с фельдшером, который менял мне купленный сахар на махорку, а последнюю прятал в земле или в водосточной трубе; но временами дождь смывал ее, оставляя нас без курева. Бывало, пойдешь в огород, ляжешь в траву на брюхо, закуришь и даешь один другому затянуться, а сам руками дым разгоняешь. Однажды начальник батальона увидел дым и закричал:

— Эй, фабричная труба, иди сюда.!

В результате — обыск и карцер. Сидя в батальоне, мы написали письмо в 1-ую Государственную Думу, подписались все, послали через фельдшера, и к великому нашему удивлению товарищ из Петрограда прислал письмо с вырезкой из петроградской газеты, в которой письмо было напечатано. Только в силу простой случайности мы избежали дальнейшей кары. Нам угрожал опять военный суд за подпись скопом и обраще-

ние в Думу помимо начальства и царя. Вот его содержание: «Тяжелые и славные дни освободительного движения граждан России не могли не затронуть армии, составляющей одно целое с народом, нижние чины которой также шли на виселицу, каторгу, ссылку, в тюрьмы и дисциплинарные батальоны; и теперь, когда народ выбрал своих представителей, то они должны первым долгом заботиться об освобождении их из тюрем и дисциплинарных батальонов». Следовали подписи: Полуэктов, Иванов, Сергеев, Зенглович, Нестеров, Овощников, Токарев и др., фамилии которых забыл.

Это было время столыпинской реакции, лето 1906 года. Вскоре я заболел и попал в лазарет. На душе было тяжело и не было видно просвета; посоветовавшись с фельдшером, я решился на последнюю ставку: или перейти в гражданскую тюрьму, так как срок военной службы я выслужил, или умереть...

Однажды, когда подошел ко мне «черномор» (так звали нашего врача), который выслушивал нас, прислонясь ухом к груди, через мундир и рубаху, я вскочил с кровати и бросился на него с ножом и крикнул:

— Я готов вас убить за такое лечение...

К великому моему удивлению он схватил меня за руку и стал успокаивать, говоря, что примет меры для отправки меня во Владикавказский местный лазарет, что и исполнил, не сказав начальнику батальона о моем нападении, за которое угрожал расстрел. Жизнь в батальоне была кошмарна: за то, что не встал, когда проходит фельдфебель, пороли, посмотрел на него не так, — пороли! Ротный командир имел право от 10 до 30 розог, батальонный — до 100 и по суду — до 300 ударов розгами. Пороли ветвями акации с иглами на них, и эти прутья длиной около 1¹/₂ аршина, мочившиеся в кадке с солью и теплой водой, всегда имелись наготове.

Перед нашим приходом был выпорот один солдат, и когда мы были с ним в бане, то я увидел весь ужас этой порки: он с трудом поворачивался, все тело было покрыто продолговатыми струпьями в разных направлениях, некоторые отпали и туда можно было вложить палец, — настолько глубоки были рубцы. Под страхом унижения человеческой личности мы находились все время; здесь — не в гражданской тюрьме, протеста не окажешь. Розги и расстрел висели, как дамоклов меч. Мне часто вспоминается 1903 год, когда в электротехнической школе, по приказанию генерала Романова, бывший командир роты подполковник Ланге выстроил всю роту с винтовками и под бой барабана дал 15 розог солдату Н. Розанову за пьянство. Я стоял в строю с винтовкою, и при первом появлении крови винтовка выпала у меня из рук, я упал и меня отнесли в лазарет.

Лишение табака было для курящих настоящей пыткой... Передать в коротких записях весь ужас режима, существовавшего в дисциплинарном батальоне, нехватает слов, и тюрьмы, которые мы прошли, казались нам простой казармой.

В конце августа 1906 года меня и т. Зенгловича, тоже заболевшего, отправили под конвоем во Владикавказ. Я еле держался на ногах, пешком степью идти не мог. Нам дали подводу. Во Владикавказе нас сдали в арестантское отделение комендантского управления; переночевав одну ночь в клоповнике, мы на другой день были помещены в арестантское отделение Владикавказского местного лазарета. Тут мы снова почувствовали себя людьми. Уход как со стороны врачей, так и низшего медицинского персонала был самый внимательный. Из госпиталя «по комиссии» можно было попасть на поправку домой, а потому я сам себе объявил голодовку и не ел перед комиссией 8 дней. Я не мог держаться на ногах и врачи заявили:

— Это не жилец на белом свете, ему необходима поправка не менее одного года, и только свобода может восстановить его здоровье.

В начале сентября нас перевели во Владикавказскую областную тюрьму, где мы были помещены в камеру с т. Рамишвили (брат члена Государственной Думы). Прогулки были запрещены, строго запрещалось также сидеть на окнах. Несмотря на это, я влез на окно и стал дразнить часового, называя его «махорочником», «За махорку предаешь товарищей!», — за что получил пулю, попавшую в потолок. Конечно, сейчас же пришло тюремное начальство, и я был посажен в карцер. Дальше этого дело не пошло. Просидев в карцере три дня, я был вызван в канцелярию, а оттуда отправлен вместе с тов. Зенгловичем обратно в Екатериноградский дисциплинарный батальон. В батальоне меня положили в лазарет, и я не знал, что со мной будет. Жить вновь в батальоне мне уже было невозможно. Временами я хотел покончить с собой. Результат врачебной комиссии не был мне известен, но внутренне я еще не совсем пал духом. В середине сентября получились бумаги из госпиталя с результатом комиссии, и под конвоем меня отправили на станцию «Прохладная». Купив 2 пачки папирос и накурившись вдоволь, до головокружения, мы отправились степью, не зная, куда нас ведут и что с нами будет. Прошли верст пять. Отдохнули и пустились бежать. Конвой еле успевал за нами, пот лил ручьями: день стоял жаркий. Часа через три мы прибыли на станцию «Прохладная», где конвойный передал нам литер «А» и суточные, сказав:

— Вы свободны. В Армавире вы должны явиться к воинскому начальнику, а оттуда вас отправят на родину.

Итак, мы на свободе. Счастью нашему не было пределов. Очутившись на станции одни, мы ног под собой не чувствовали, и нам казалось, что мы только-что родились на свет. Вскоре пришел поезд с арестованными, которых везли в областную тюрьму. Мы подошли к товарищам и стали об'яснять порядки Владикавказской тюрьмы, ругая при этом тюремное начальство, за что получили замечание железнодорожного жандарма, который сказал:

— Только-что освобождены, видно, опять хотите туда же.

Тогда тов. Зенглович взял меня за шинель и оттащил от вагона, сказав:

— Успокойся, когда доберешься домой, увидишь родных, тогда продолжай опять.

Я повиновался. Уж слишком дорога показалась мне свобода. Скоро пришел поезд из Владикавказа. Мы сели в вагон 3-го класса без решеток и отправились в Армавир.

Приехав в Армавир, явились к воинскому начальнику, Писарь познакомил нас со старшим писарем и предложил угостить всех писарей. Достав 2 бутылки водки и ведро пива, мы споили всю канцелярию. Писаря написали нам документы и дали литеры «А» прямо на родину.

Приехав в Нижний, я явился к воинскому начальнику; а так как писаря в Армавире написали в проходном свидетельстве, что я отбыл наказание и уволен с военной службы, то мне воинский начальник, не получив еще документов из батальона, выдал удостоверение, по которому я явился в полицейское управление, получил паспорт и отправился в Москву. Прошло 2 месяца, вдруг получаю телеграмму от родных: «Немедленно приезжай». Приехал в Нижний,—оказывается, что воинский начальник получил документы из дисциплинарного батальона, где сказано, что через год я должен быть арестован для отбытия наказания. Воинский начальник выдал мне увольнительный воинский билет с запечатанным в конце книжки послужным листом. Выругав, что я без разрешения уехал в Москву, он отпустил меня. Через год я явился на комиссию врачей в Нижний; комиссия признала меня вновь больным и не подлежащим заключению. Результаты комиссии мне не об'явили, и я вновь уехал в Москву.

Прошло 8 месяцев, меня никто не тревожил, и я думал, что обо мне забыли. Я поступил на службу техником в строительную контору Гейслера. Принялся за работу, просвещая строительных рабочих... Но недолго продолжалось мое спокойствие: через 1 год и 8 мес. после освобождения из б-на, в апреле 1908 года, на постройку в Скатертном п-ке, где я заведывал, явился околоточный с городовым и предложил мне следовать за ним. Рабочие хотели было вступить и идти вместе

со мной, но я просил их уйти. Случайно околоточный жил в одном доме со мной, а потому поверил мне на слово, что я завтра сам явлюсь к приставу Тверской части.

Утром, послав своего брата-офицера к приставу, я условился с ним, что если дело плохо, он вынет платок из кармана, а я буду стоять недалеко у окна на площади у памятника Скобелеву и убегу... Платка не было, а, наоборот, брат вышел и позвал меня к приставу, от которого я узнал, что получена бумага от Нижегородского уездного воинского н-ка и что я должен отбыть наказания 2 г. 5 м. 4 дня. Так как по этой бумаге никакой начальник тюрьмы не может принять меня, ибо нужен приговор суда, он переправляет ее градоначальнику, а с меня берет подписку о невыезде, при поручительстве брата. Я ушел... Вскоре я был вновь вызван. Дело было направлено к прокурору Петроградского военно-окружного суда, который на заседании суда докладывал мое дело в моем отсутствии, и суд постановил заменить оставшийся срок заключения в дисциплинарном батальоне гражданской тюрьмой на тот же срок, — что мне и было об'явлено. Я заявил просьбу разрешить мне сидеть во Владимире. Пристав сказал:

— А зачем сидеть?.. Поезжайте в Орел, Тулу, Калугу, а пока вас разыскиваем, вы тем временем подавайте прошение на высочайшее имя. Я не согласился; просил отправить документы во Владимир, хотя знал, что вскоре после нашего освобождения все наши товарищи были также освобождены из дисциплинарного батальона ранее срока. Сдав дела по постройке дома бр. Тарасовых, я через два дня выехал во Владимир. Явившись туда к полицеймейстеру, я просил его посадить меня. За отсутствием документов он от этого отказался, записал мой адрес и отпустил. Бежать нельзя было, так как за меня дано было поручительство.

1 мая 1908 года я получил извещение явиться к полицеймейстеру, который арестовал меня. После этого двое городских с заряженными револьверами в руках повели меня в тюрьму. Через три дня я был вызван в цейхгауз, где мне приказали раздеться догола; здесь взяли мою одежду и выдали серый арестантский бушлат, шаровары, круглую серую шапку и на ноги «коты». Кончив переодевание, повели из подвала во 2-ой этаж и посадили в камеру вместе со стариком гр. Никольским, бывш. сторожем в тюремной церкви, осужденным за растрату казенных денег; ему оставалось сидеть 1 месяц. В новой рубахе нельзя было шевельнуться—всюду кололо и кусало. Недолго думая, я снял рубаху и начал возить ее по асфальтовому полу и мять. Дальше потекли день за днем. Прогулка разрешалась на 5 минут, в остальном порядок был как везде. Вскоре к нам посадили подследственного диакона, убившего попадью. Итак,

я очутился среди уголовных. Я заявил об этом начальнику тюрьмы, на что получил ответ:

— Один скоро уйдет, а другой ждет суда, после которого будет переведен в другую камеру, и вы останетесь один.

Так как тюрьма была полна, то к нам посадили еще новичка, гимназиста 18 лет, тов. Коняева, осужденного за экспроприацию и хранение литературы в Коврове на 20 лет каторги. Прошел месяц, Никольского выпустили. Он, уходя, сказал в канцелярии тюрьмы, что диакон подговаривает Коняева к побегу посредством подпила решетки, а так как у окна спит Полуэктов, то его собираются зарезать, ибо бежать ему из-за малого срока не стоит, да он и не побежит.

Вследствие заявления Никольского в камеру ночью пришли с обыском. Нашли нож, пилки. Дякона перевели к уголовным, а Коняева оставили со мной, заковав его в кандалы. Опять потянулись скучные дни.

Внизу под моей камерой сидели осужденные за экспроприацию; они задумали подкоп. Вырезав под кроватью слой асфальта, они начали рыть подземный ход. Землю валили в «парашу» и выносили, говоря надзирателям, что «параша» очень пахнет. Только страстное желание свободы могло заставить рыть землю без инструмента—какой-то железкой. Я слышал каждую ночь, как подо мной без перерыва что-то скоблили. Когда докопали до фундамента, там к их счастью оказалась старая выгребная яма, куда они с успехом свалили камни и землю. Когда они прошли фундамент, работа перестала быть слышной, и они копались уже во дворе; нужно было прокопать аршин 8, чтобы выйти за стену на волю, но они ошиблись в направлении и стали уже подкапываться кверху. Пошел сильный дождь. Вода размывала землю, и получился обвал. Тюремное начальство это заметило. Подкоп был открыт: всех пятерых посадили в карцер. Карцера здесь особенные—в подвале, пол глиняный и перед тем, как посадить, выливают 3—4 ведра воды; раздевают до нижнего белья, предварительно избив до потери сознания, и толкают туда несчастную жертву. Однажды мне привелось видеть, как выпускали из карцера арестованного: в первое время он ничего не видел, пальцы были синие, опухшие и растопыренные. Человек не мог их согнуть от холода, весь дрожал. Своим телом он высушивал пол в карцере, когда, утомленный, больше не мог стоять на ногах.

Была осень 1908 года. Коняева перевели во Владимирский централ, я остался один. Тюремный священник предложил мне заведывать библиотекой и сторожить церковь, и так как эта служба предоставляла известную свободу, я согласился. Раздавая книги арестованным, я имел возможность заходить во все камеры, не исключая башен, где сидели «смертники»—

приговоренные военно-полевыми судами к смертной казни за экспроприацию. С ними я часто разговаривал и исполнял их просьбы по передаче записок. Но как безумно было тяжело ночью, когда за ними приходил конвой, чтобы вести на казнь...

Глубокая ночь, тюрьма вся спит... Тишина... Разве только случайно всхрапнет надзиратель и, повернувшись на табуретке, звякнет ключами. Но вот скрип калитки, раз, два, три... щелканье засова у входной двери, надзиратель поднимается, идет, на поясе лязгают ключи... В тюрьму входят солдаты, идут тихо... Говорят шопотом... Но никто уже не спит... Все на ногах, жалобно смотрят по-очереди в волчки и слушают. Солдаты подходят к башне. Открывают первые двери... вторые, и, наконец, выводят «приговоренного». Он кричит несвоим голосом:

— Прощайте, товарищи!

В ответ слышится:

— Прощай!

Второй раз ему крикнуть не удастся: приклад винтовки по голове оглушает его... слышен стон... что-то волочат по полу. Дверь тюрьмы закрывается, выводят на двор... а обитатели тюрьмы уже на форточках—слушают... Свежий воздух оживляет несчастного: он идет сам и опять ему удастся крикнуть:

— Прощайте, товарищи, смерть палачам!

Но тут калитка у ворот захлопывается, и тюрьма, ответив «прощай товарищ», опять как-будто засыпает. Но сна нет. Долго эти крики стоят в голове, и кто их слышал, не забудет всю жизнь. Я лично доходил до иступления после ночных визитов, бнясь головой об стену... и... засыпал. Фамилий повешенных товарищей не помню,—их было много.

В. Н. Полуэктов.

Севастопольская городская тюрьма.

(Из воспоминаний политкаторжанина о 1908—1911 гг.).

В то время в Севастополе после бурных 1905—1906 гг. наступил канун революционного затишья. Разгромленная революция доживала последние свои дни.

Разбитые революционеры, неся колоссальные жертвы, героически сопротивлялись все усиливающейся реакции, переходя порой в наступление.

Террор достиг своего апогея: на полевые суды, расстрелы и виселицы отвечали бомбой, наводящим панический ужас на наших врагов взрывом.

Несмотря на бешеные усилия адмирала Чухнина, коменданта Севастопольской крепости Неплюева и градоначальника Думбадзе, революция жила, на место выбывающих вступали новые бойцы, и борьба разгоралась с новой силой. Все же это были последние вспышки пламени большого потухающего пожара, и по всему было видно, что революционная волна шла быстро на убыль.

Правительство, очевидно, решило совершенно очистить город, имеющий большое стратегическое значение, от революционеров. Севастополь был наводнен шпиками и аресты сыпались, как из рога изобилия. Один «провал» сменялся другим.

Кровожадный градоначальник Думбадзе готов был снести с лица земли ненавистные ему рабочие слободки, откуда главным образом и шло революционное пополнение.

«Снесу с лица земли и место засею рожью»,—таковы были обещания Думбадзе после последнего на него покушения.

Правда, Думбадзе рожью ничего не засеял, но кровью полил основательно. Ни одной рабочей семьи не уцелело... Расстрел, виселица, каторга и административная высылка были обычными в то время явлениями.

Рабочие иногда без всякого повода арестовывались пачками и каждую субботу тянулись бесконечные этапы.

— Куда? За что?

— Хе, хе. Не все ли равно за «что» и «куда», лишь бы поменьше было этих крамольников. Лучше сотню невинных

повесить и тысячу выслать, чем оставить одного революционера.—Таков был принцип «блюстителей порядка» вообще и кровожадного градоначальника Думбадзе в частности.

— Помилуйте, тут, можно сказать, первоклассная крепость и база черноморского флота и вдруг—гнездо революционеров... Бррр.. и блюстителей порядка лихорадило, тем более, что и страху на них было нагнано основательно.

Матросы целыми отрядами чуть ли не с барабанным боем отправлялись на каторгу; ими же были переполнены пловучая тюрьма и тюрьма при морских экипажах. Напуганная до смерти революцией реакция расправляла свои страшные когти.

В один из «провалов» напали и на мой след.

Поздно вечером ко мне на квартиру пожаловали жандармы с ротмистром во главе. Произвели обыск и об'явили, что я арестован.

— Как? На каком основании?—пытался я протестовать.—Ведь вы у меня ничего не нашли компрометирующего?

— Ладно, это выясним после,—ехидно замечает ротмистр,—а пока пожалуйста прокатиться до тюрьмы!

Логика убийственная. Я сажусь между двух рослых жандармов, и мы отправляемся в путь-дорогу.

Тихий южный вечер, мелькают красиво освещенные в зелени акаций фруктовые лавки; снует беспечно гуляющая публика, вдали играет оркестр и до меня долетают нежные звуки вальса; мысленно прощаюсь с волей... с красивым южным городом...

* * *

Севастопольская городская тюрьма по сравнению с большинством русских тюрем снаружи очень опрятна, и если бы не высокая каменная стена с бронированными вышками по углам и наличие навесных деревянных щитов на окнах, ее и за тюрьму принять нельзя было бы.

Передний корпус занят под одиночки и от него тянется корпус общих камер.

В тюремной конторе обычная процедура: записывают имя, звание, раздевают наголо, измеряют рост, обыскивается и ощупывается все платье и т. п. Наконец выводят в коридор к массивным железным, забранным решеткой воротам.

— Принимай! В одиночку № 20,—крикнул старший надзиратель.

«В одиночку № 20»—мысленно повторяю я. Значит, я буду сидеть один.

Привратник знает свое дело: он вновь обыскивает меня, прощупывает сверху донизу, шарит по бокам, выворачивает все карманы и даже вынимает из фуражки пружину (впослед-

ствии я узнал, что в тюрьмах из этих пружин делали превосходные ножи и бритвы) и только после окончания всей церемонии пропускает меня во «святая святых».

— Много же вас, политиков, за последнее время таскают! Вот вчера, тоже ночью, человек двенадцать притащили, — как-будто про себя рассуждает дежурный надзиратель, ведя меня по лестнице в одиночный корпус.

Вдруг он круто поворачивается ко мне лицом, корчит смешную рожу и выпаливает:

— А матрац-то?! Как же, так нельзя. На чем же вы спать-то будете?

— Мне все равно, — отвечаю я.

Спускаемся обратно в подвальный этаж, в кладовке выбрали матрац. Обхватив обоими руками и путаясь в соломенном мешке, взбираюсь по лестнице обратно на верхний этаж. Глухо щелкнул замок — я в одиночке № 20.

Тюрьма в то время была переполнена, что называется, «до отказа», и на каждую одиночку приходилось от 3 до 4 человек.

Мое предположение, что меня посадят одного, не оправдалось: в одиночке оказалось три приветливых и веселых товарища. Несмотря на позднее время, все встретившее меня население всполошилось и наперебой помогало поудобнее устроиться в новом жилище.

— Ничего, товарищ, как-нибудь разместимся, — успокаивали они меня. — Чай романовская гостиница-то. Места хватит.

После обычных расспросов «откуда», «за что» и т. д. сокамерники не преминули сейчас же посвятить меня во все особенности тюремного быта и поспешили отрекомендоваться.

Первый из них — с.-д. большевик Иван Жуков ¹⁾, начитанный и серьезный товарищ, впоследствии неутомимый инициатор культурных начинаний нашей миниатюрной коммуны. Второй — рабочий, с.-д. Юльговский, веселый и жизнерадостный малый, мастер по части устройства всеобщих потасовок, т. к. его молодой и крепкий организм не мог мириться с бездействием и требовал движений, что немало нервировало коридорного «дядьку», и, наконец, третий, — тоже рабочий т. Пеньков, арестованный за принадлежность к боевой организации «Свобода внутри нас» ²⁾, полная противоположность первым: он лежал, закрывшись одеялом с головой, и чихал на всех и вся. А в общем, все были милые и хорошие ребята, и мы зажили неплохо, а по-тюремному даже более, чем превосходно.

¹⁾ Ив. Жуков, в настоящее время член Р.К.П., работает в Крыму секретарем Карасубазарского райкома Р.К.П.

²⁾ Группа боевиков, отколовшихся от севастопольской организации п. с.-р.

В период первых дней моего заключения тюремный режим был до некоторой степени сносным: на поверку не вставали, гуляли всем коридором, пища была также не из плохих, и мы чувствовали себя сравнительно свободно. Впоследствии постепенно начал вводиться горькой памяти столыпинский режим, который и царил в наших тюрьмах с 1908 по 1913 год.

В одну из утренних поверок нам было в вежливой форме заявлено, что на поверку надо вставать с постелей, т. к. иначе начальству неудобно нас считать.

Обсудив предложение администрации, пришли к заключению, что из-за таких мелочей не следует «затевать волынку»; решили подчиниться, но не одеваясь, и после поверки снова ложиться спать.

По прошествии некоторого времени было пред'явлено новое требование: вставать на поверку одетыми; затем одно за другим посыпалось: застегиваться, строиться и т. д. Мы уже давно поняли свою ошибку, и когда нам пред'явили требование снимать шапки в коридорах, и на прогулки ходить по два в ряд, мы запротестовали и об'явили администрации, что не выйдем на прогулку до тех пор, пока эти распоряжения не будут отменены. Наш протест, как и можно было ожидать, продолжался недолго. Неустойчивые, случайно арестованные не выдержали первыми, за ними потянулись другие, и месяца через полтора протест был сорван. Но борьба разгоралась, и один протест сменялся другим, выливаясь, смотря по обстоятельствам, в более или менее резкую форму.

Смертные казни в то время были обычным явлением, и в особенности в Севастополе приходилось много смертных приговоров на каждую сессию военно-окружного суда.

Каждый день приходили из залы суда товарищи, осужденные к смертной казни. По характерному жесту рук, охватывающих горло, мы точно определяли из окон тюрьмы, кто именно осужден на смерть. Обреченных обычно приводили в нижний этаж к вечеру. Стучит молот, звенят кандалы, и все затихает в жуткой вечерней мгле.

Казни происходили на рассвете, на маленьком дворике за тюремной больницей. Там устраивалась виселица, которая потом разбиралась и пряталась, а затем воздвигалась вновь по мере надобности.

Мы чутьем угадывали, когда будут казни. Подозрительная тишина, неосторожный стук во дворе, сосредоточенно-напряженная мина коридорного надзирателя подтверждали наши догадки, и мы перестукивали по одиночкам: «сегодня ночью будут вешать». В такие ночи тюрьма не спит, ожидая последнего прощального крика товарищей, идущих на казнь.

За полночь наше нервное состояние доходит до наивысшего предела. Оно передается и надзирателю, который поочередно открывает наши «волчки», выкрикивая:

— Спать пора! Чего не спите?

— Проваливай, это не в твоей власти, — ядовито острым мы.

Критический момент настает. Слышно, как из дверей тюрьмы на передний двор выходит группа людей, гулким топотом наполняя ночную тишину.

— Прощайте, товарищи! — раздается крик.

— Прощайте! Смерть палачам!! — ревет тысячеголосая тюрьма. Похоронным маршем, проклятиями, стуком в двери провожали мы своих товарищей к последней ступени тернистого пути побежденного революционера — эшафоту.

Так были повешены тов. Скрипниченко, отчаянный террорист и превосходный стрелок. Рассказывали, что тов. Скрипниченко сразбегу, падая и в это время стреляя из браунинга, мог разбивать пулей поставленную на значительном расстоянии бутылку. Понятно, что одно имя Скрипниченко приводило в ужас всех охранников и шпиков. Охранка, узнав его местопребывание, долго не решалась произвести арест, ожидая подходящего случая. Наконец, на одной из глухих улиц города была устроена засада. После отчаянной перестрелки и преследования по крышам домов т. Скрипниченко, расстреляв все патроны, сдался.

Его казнили.

Был казнен за восстание также и крепостной офицер Глинский.

Капитан Белостокского полка т. Никитин по обвинению в организации восстания был специально вызван Каульбарсом для суда в Одессу, и, приговоренный к смертной казни, накануне ее покончил самоубийством, вскрыв себе вены.

В особенности поразила нас казнь рабочего т. Кремлянского. Его обвинили в террористическом акте, которого он в действительности не совершал. На суде целый десяток свидетелей утверждали, что в момент совершения акта тов. Кремлянский был дома и следовательно не мог совершить приписываемое ему деяние¹⁾, но один из городских показал, что он видел т. Кремлянского убегающим после выстрелов. Этого было достаточно, чтобы погубить молодую жизнь.

Кроме перечисленных был казнен тов. Литвиченко, активный участник многих крупных террористических актов, и много, много других товарищей сложило свои головы за дело рабочего класса и крестьян.

¹⁾ Убийство шпики на Корабельной стороне.

* * *

Нашу тюрьму охраняли солдаты, и все наружные посты были заняты ими. Кроме постов на бронированных вышках тюремной стены и во дворе против наших окон также ставился пост. Обязанность этого часового была наблюдать за нашими окнами, не позволяя нам смотреть в них. При окрике: «слезь с окна!» и при оплошности кого-либо из зазевавшихся—немедленно следовал выстрел, в большинстве случаев не причинявший нам никакого вреда. Но иногда метко направленная пуля убивала наповал кого-либо из товарищей или залетала в камеру рекошетом, ударялась о свод, царапала наши физиономии щебнем.

— Эй, «масалка»! ¹⁾, плохо стреляешь: трех рублей не зарабатываешь ²⁾,—кричала ему в ответ неунывающая публика.

— Слезь с окна! А то смету тудыт твою мать!—беленился солдат.

Наружная охрана также не скупилась на выстрелы по случайно забредшим в черту тюремной охраны прохожим. В особенности были часты «несчастные случаи» в темные осенние ночи. Слыша глухой выстрел за стеной, мы уже знали, что это значит. И затем можно было наблюдать, как подобранное тело убитого тащилось через тюремный двор в больницу.

К нашим окнам с наружной стороны были приделаны деревянные щиты, треугольником закрывающие низ. Мы ничего не могли видеть сквозь них и пользовались для этой цели только небольшими щелями. Небо же было совершенно открыто и мы в шутку говорили, что нам предоставляется право свободно изучать только астрономию.

История введения в Севастопольской тюрьме деревянных щитов такова: летом 1907 г. была взорвана тюремная стена и через образовавшуюся брешь бежали 18 человек «тяжких политических преступников». Администрация пронюхала, что из одиночки верхнего этажа производилась сигнализация товарищам на волю, которые и руководили взрывом. И на окна навесили щиты, которые впоследствии немало нас нервировали. Особенно они были нестерпимы в жаркое южное лето, когда приток воздуха был настолько невелик, что мы, обливаясь потом, буквально задыхались от духоты.

Население одиночных камер было текучее. На место уводимых осужденных прибывали новые с воли, и кроме того тюремная администрация часто нас «перегоняла», руководствуясь ка-

¹⁾ Бранное прозвище солдата, распространенное в то время между заключенными Севастопольской тюрьмы.

²⁾ Жизнь заключенных расценивалась в 3 рубля, и убивший арестанта конвойный или часовой получал за это 3 рубля наградных и похвалу от начальства.

кими-то соображениями, остававшимися ее тайной. Делалось это, повидимому, в целях разобщения арестантов, чтобы изоляцией парализовать дух протеста. Но меры эти ни к чему не приводили и, конечно, не могли дать ожидаемых тюремщиками результатов. Мы все жили одной жизнью, одной волей и, переходя в другие камеры, встречали таких же протестантов, а по-сему—«волынки» продолжались.

Одиночки были переполнены. Естественно, что они, рассчитанные только на одного человека, не могли удовлетворить нас в гигиеническом отношении. Воздуха нехватало, спали на грязных соломенных тюфяках без кроватей на полу. Тюфяки на день складывались кучей в угол, вследствие чего и без того небольшая свободная площадь еще больше сокращалась и «погулять» по камере не представлялось возможным. Мы вынуждены были просиживать целые сутки в спертom воздухе, насыщенном пылью от перетертой тюфячной соломы.

В разгроме севастопольских революционных организаций немалую роль в то время сыграл провокатор Шелухин, видный боевик п. с.-р., совершивший немало террористических актов. После ареста по серьезному делу начал выдавать, спасая свою жизнь. Он выдал жандармам всех, кого он знал (а надо сказать, что связи были громадны) и не знал, помогая жандармам создавать дутые процессы.

Тюремное начальство блюло его, как зеницу ока, и даже посадило в особую одиночную камеру — «сучий куток», как выражались уголовные на тюремном жаргоне.

Шелухин умер в тюрьме. Как передавали потом товарищи, его замучила совесть, и он покончил с собой постепенным самоубийством, принимая внутрь толченное стекло.

По нашему делу было привлечено 13 человек, из которых немало было людей чисто случайных.

Увлеченные созданием громких процессов, жандармы в надежде на повышение по службе и вознаграждение перестарались. После нашего провала, который они по справедливости считали последним, в Севастополе наступило революционное затишье.

3—5 октября 1909 г. в севастопольском военно-окружном суде начался наш процесс. Все мы привлекались по 102 ст. 2 части уголовного уложения за принадлежность к п. с.-р.; кроме того т.т. Захарову и Данилову¹⁾ инкриминировался террористический акт и им была добавлена еще и 279 ст.

¹⁾ Т. Захаров—портовый рабочий, в настоящее время член общества политкаторжан севастопольского отделения. Т. Данилов—военный фельдшер одного из военных судов, умер в Николаевской каторжной тюрьме.

Суд тянулся очень долго (3 дня), обвинительный акт читался вяло и вялость эта была написана на обрюзглом лице председателя в генеральских погонах и на щеголеватых офицерах; членах суда. Было ясно, что совершается только комедия правосудия и что наша участь уже предрешена; и с нами, как с пленниками; хотят расправиться, выместив звериную злобу, накопившуюся за грозный 1905 год.

Приговор, как и надо было ожидать, был суров. Тт. Захарова и Данилова приговорили к смертной казни (впоследствии замененной бессрочной каторгой), т. Воркина ¹⁾ на шесть лет каторжных работ, т. Меркушкину ²⁾, Сергееву ³⁾ и мне дали по четыре года каторжных работ; дело учителя гимназии Штван и его жены было выделено за их отсутствием ⁴⁾. Пять человек по суду было оправдано.

После суда меня заковали.

Когда рослый кузнец из арестантов, положив мою ногу на наковалью, ловким, сильным ударом молота разбивал заклепку на моих «браслетах», я сильно нервничал: мне казалось, что бьющий промахнется и ударит меня по ноге.

— Ничего, дело привычное, — как-будто отвечает на мои мысли кузнец.

Затем процедура с переодеванием во все арестантское, и меня перевели в общую каторжанскую камеру.

В новом положении, положении каторжника, первое; что я подметил, была перемена режима: он по сравнению с одиночным корпусом был гораздо суровее. На каждом шагу тюремная администрация старалась подчеркнуть, что мы—каторжные, а следовательно не люди, с нами можно сделать все, что ей заблагорассудится.

Слабовольный пьяница-начальник всю тюрьму передал в распоряжение своего помощника Шпота, невежественного, свирепого ничтожества.

Шпот начал вводить свои распорядки, обращая внимание, главным образом, на мелочную сторону дела. Ему, очевидно, казалось, что чем больше он причинит нам вреда, тем скорее достигнет цели. Надо отдать справедливость Шпоту: роль

¹⁾ Т. Воркин—рабочий Севастопольского порта. Умер на Украине после амнистии 1917 г.

²⁾ Т. Меркушкин—трамвайный кондуктор. В 1918 году расстрелян во время чехо-словацкого выступления в Сибири.

³⁾ Сергеев—рабочий Севастопольского порта. Умер в Херсонской каторжной тюрьме. Обвинялся нами, как провокатор, и все время числился в разряде „боящихся“.

⁴⁾ Т. Штван и его жена были выпущены из тюрьмы под залог; воспользовавшись этим, они скрылись за границу.

палача-мучителя выполнял усердно тем более, что это ремесло не требовало особых умственных способностей.

Ни одного дня не проходило без какой-либо каверзы, и мы всегда находились в нервно-возбужденном состоянии.

— Тише!—грубо орал надзиратель с коридора при малейшем звоне кандалов или разговоре.

На вечерней поверке, когда мы выстраивались в два ряда, дверь с шумом открывалась и в нее вваливалась целая орава надзирателей со Шпотом во главе, который, тыкая пальцем в воздух, считал: раз... два... и затем сосредоточенно записывал итог себе в тетрадь. То же самое делал и старший. Затем наш дежурный надзиратель подскакивал с подло-подобострастной рожей и, прикладывая руку к козырьку, рапортовал:

— Ваш-благородь, восьмая камера шумела.

— Гм... Шумела? На неделю без обеда и кипятку,—важно изрекает Шпот, поворачиваясь на своих толстых, как тумбы, ногах.

А когда у кого-либо из нас срывался с уст протест, то строптивых отправляли в карцер. Тянулась непрерывная цепь; одно «наказание» сменялось другим: то нас лишают кипятка, то горячей пищи, то табаку и переводят на карцерное положение всю камеру, то выводят в коридор и делают тщательный обыск, отбирая положительно все: чай, сахар, табак, бумагу, книги, матрацы и т. п.

Между нами и тюремной администрацией велась самая упорная и ожесточенная борьба. На все «нововведения» мы реагировали, как могли, и казалось, вот-вот чрезмерно натянутая струна оборвется и произойдет нечто ужасное.

— Так нельзя... Терпеть больше нет сил... Надо об'явить голодовку...—волновались одни.

— Голодовка, это—орудие, которое притупилось, надо придумать нечто другое,—отвечали иные.

— К чорту!.. Лучше смерть, чем такое скотское состояние,—говорили третьи и предлагали чудовищный план: на поверке, когда откроется дверь и в нее войдет вся свора тюремных стражников, напасть на последних, перебить, завладеть их оружием, забаррикадироваться и подороже продать свои жизни. На побег мы не рассчитывали, т. к. при наличии усиленного наружного караула и бронированных вышек у администрации была возможность обстрелять нас и тревогою быстро вызвать войска.

... А дни серые, мутные, однообразные—лениво катились в вечность, и мы забывали считать их, порою находило отчаяние, хотелось разом покончить, разом оборвать эту цепь один на другой похожих дней, некоторые из товарищей это и делали: шли в карцер и на приготовленной из своего белья петле вешались.

Но у многих здравый рассудок брал верх. Казалось нелепым умереть не борясь, а «жизнь—борьба», как любили мы выражаться, оправдывая свое существование.

В Севастопольской тюрьме в то время политических каторжан насчитывалось гораздо более уголовных. На каждую общую камеру в 25 человек уголовных приходилось не более 5—7 человек, и естественно, особых недоразумений с ними не было; они шли за политическими, поддерживая нас во всех протестах.

В камерах «частной собственности» не существовало. Был введен коммунальный образ жизни. Все кому-либо присылаемые деньги поступали в общее распоряжение и на них делались выписки продуктов для всех участников камеры. Таким образом, коммуна играла очень серьезную роль воспитательно-морального характера. Идея коммуны у севастопольцев настолько привилась, что, разойдясь впоследствии по каторжным центрам России, севастопольцы всегда были самыми яркими ее сторонниками.

В 1910—1911 г.г. Севастопольскую тюрьму начинают разгружать от каторжан, направляя массу, главным образом, в Херсонский и Николаевский центры.

Заканчивая очерк о Севастопольской городской тюрьме, я должен сказать, что конечно не мог охватить полностью все стороны жизни и события, в ней происшедшие.

Полагаю, что эти пробелы пополнят до и после меня сидевшие там товарищи.

Пл. Алисов.

«Таганка» 1907 года.

Новый арест после октябрьских „свобод“ 1907 года.

Уже две недели, как меня засадили в одиночный каземат при московской охранке. Ни на прогулку, ни в баню не водят, книг не дают, мстя за категорический отказ требуемой «покорности», и на свидания никто ко мне не ходит, и в соседних камерах никого нет. Лишь по коридору шмыгают охранники и по временам о чем-то шепчутся. Эти люди мне чужды и враждебны. Странное чувство порою овладевает мною. Мучит дума—не провалился ли кто в связи со мной. О, это было бы ужасно. Но ведь ничего же не нашли, ни одного адреса. С этой стороны—спокойное счастье... Какие же обвинения могут мне пред'явить? Оба года я жил нелегально. К какому делу вздумают меня притянуть? Да ни к какому, если не окажется предательства, или к любому, вплоть до московского восстания, если кто начнет выдавать. Однако в одиночке проводить время в бесплодных сомнениях попросту глупо. Довольно. Начну требовать книг. Не имеют права меня так держать. Буду требовать бани. И чего-нибудь добьюсь. Две недели—уже достаточный срок для такой дьявольской оторванности от живого мира. Чего доброго и заморят здесь. Начинаю громко барабанить в дверь кулаками.

— Здесь так шуметь не позволено, — говорит через дверь дежурный сторож.

— Позовите смотрителя или кто там у вас заведует этими казематами. Засадили человека и оставили без прогулок, без книг, без бани....

— Это не наше дело. Скоро придет начальство, позову. А все же так шуметь у нас не позволено, — перебивает невидимый оппонент и быстро уходит.

Через несколько минут замок гремит и в камере появляется штатский брюнет лет 35, два околоточных и несколько полицейских.

— Что вам угодно? Здесь шуметь нельзя.... — говорит штатский.

— А держать в душной камере без прогулки можно?— прерываю я. — Я еще не осужденный даже по вашим законам... не лишенный прав...

Сказав последнюю фразу, мне однако пришлось спохватиться. Ведь я беглец из Сибири из политических ссыльно-поселенцев. По русскому уставу о ссыльно-поселенцах, я имею лишь одно право—получить четыре года каторги и от 20 до 30 ударов розог.

Но мои тюремщики еще не знают о моих «правах», им известно одно: я шлиссельбуржец, так как моя настоящая фамилия уже установлена самой охранкой.

— Вы сами затормозили свое дело, отказавшись от всяких показаний,—отвечает штатский брюнет.

— Мое заявление сюда не относится, я повторяю, что держать меня без свежего воздуха, без книг... это уж издевательство над безоружным пленником, и пока здоровье не изменило мне, я вынужден буду протестовать...

— У нас не имеется места для прогулок. Здесь не тюремное помещение.

— Но меня могут здесь держать до бесконечности. Отнимать здоровье в этой духоте....

— Вас скоро переведут в тюрьму. Но если вы будете продолжать шуметь...

— Прошу вас не угрожать мне,—нервно перебиваю я.

Спутники брюнета как-то встрепенулись, насторожились и, вперив глаза в начальника, как-будто ждут особых приказаний: схватить меня, потащить куда-нибудь за дерзкую фразу. А может быть мне так показалось.

Однако охранник был, повидимому, испытанный и умудренный психолог. Он решил прибегнуть к «успокоительному методу» и делал это с подобающим достоинством и ловкостью человека, через руки которого прошла не одна сотня крамольников всяких возрастов, званий и положений.

— Постарайтесь успокоиться... На-днях будете переведены в тюрьму. Там будут и прогулки, и баня, и книги, быть может и свидания. У вас, конечно, имеются здесь родные,—бросает он как бы к случаю.

— Я не могу успокоиться, пока меня держат в таких условиях. Все будущие блага тюремной жизни мало меня утешают... Сейчас я говорю только о настоящем.

— Хорошо, книги вам будут присланы, что же касается прогулок, то я должен буду предварительно переговорить... с начальством.

В это время явился еще какой-то чин и отозвал охранного парламентаря. За ним последовала и вся его свита так же молча, как и вошла. Дверь моей камеры захлопнулась, звонко щелк-

нул замок. Снова остаюсь один, снова тишина. Тихонько подхожу к двери, прислушиваюсь. В коридоре тишина. Через щели потянуло дымком махорочки. Это дежурный „дух“ закурил свою «цыгарку».

Вспомнилось и мне, что я давно уже не курил. Табак и бумага есть, а спичек нет—не дают в камеру. Каждый раз надо обращаться к часовому. Стучу в дверь.

— Что угодно?—вежливо, но хмуро спрашивает часовой.

— Спичку мне.

— Покурить захотели? Вот это можно. Это нам приказано исполнять, с нашим удовольствием, я сам человек курящий... без табачку тоска,—отворяя дверную форточку, балагурит часовой, высокий светлорусый мужчина с бритой бородой и маленькими усами.

— А за что вас сюда посадили, господин? У нас тут бывают все больше молодые. А на вас вот смотрю — человек вы почтенный, чай, за сорок лет будет,—озираясь спрашивает он, передав мне коробку со спичками.

Молча заглядываю через форточку в его лицо и недоумеваю. Неужели этот простофиля напичкан шпионскими хитростями? Нет, не похоже: простодушные серые глаза, широкое лицо, мужицкий говор, сдобренный полицейской интонацией,—все выдает в нем простого служаку из городских. Пропускаю мимо ушей его простодушные иль (кто их знает?) коварные вопросы.

— Кто здесь еще сидит? Больной, что ли?—совершенно неожиданно спрашиваю я, полагая, что и получу ответ как бы врасплох.

— Никого больше нет,—простодушно отвечает сторож.

— Давно уже никого нет?

— Перед вами сидели трое, какие-то экспроприаторы... в тюрьму их увели... одно, сказывают, повесют. Был тут всякий народ. Двоих уже кончили,—откровенничает часовой.

Угощаю его своим табаком.

— Нам не приказано брать от арестованных. Вы семейный,—поди жена, дети есть. Чай не знают, что вы здесь. Здесь строго у нас, ни свиданий, ни писем, ничего не допускается. Если желаешь, схожу извещу, скажи адрес их... Мне скоро сменяться,—переходит он на ты. — Говори не опасайся.

Слушаю и недоумеваю: как принимать его слова, его услужливость. Инстинктивное недоверие было попрежнему сильно, но и оскорблять его мне не хотелось. Бывали же случаи в прошлом. Если мне не нужны его услуги, быть может другому пригодятся. Благодарю, но отказываюсь.

— Здесь у меня никого нет. Я из Сибири приехал...

— Плохо, стало быть, и похлопотать будет некому. Другое дело, когда есть рука; без руки ни на шаг—задаром пропадешь.

Ноне тут двоих на веревку свели, ни за што. Будь бы рука, смотришь—ребят и оправдали бы. Тоже и ноне брат хорош—ни бога, ни стыда. Вместе водку пили, почитай, как кумовья были, запросто в трактир шли, в портерную. Водка-то до добра не доводит, напились раз да подрались. Ну и наклали приятелю городовому. Его, дурака, науськали поднять дело «при исполнении службы». Полевой суд, к виселице. Городовой-то наш так и ахнул. Плакал, каялся. Какой там бунт. Просто по пьяному делу. Такой грех, такой грех. Двоих ни за што повесили. Не было руки заступиться, похлопотать было некому. А будь рука, смотри—оправдали бы.

Молча выслушал рассказ странного сторожа. Он повествовал мне о действительном факте, попавшем даже в газеты. В Москве в самом деле были повешены два брата Котловых, которые в нетрезвом виде подрались со своим приятелем городовым. Какой-то околоточный, узнав об этом, настроил серого фараона поднять дело, в результате—военный суд и казнь.

Повидимому, на моего собеседника эта история произвела сильное впечатление. Он несколько раз отходил от форточки, подходил снова, но при первом же подозрительном звуке быстро ее захлопывал и что-то ворчал.

Через несколько дней меня перевели в Таганскую тюрьму, проще—в Таганку, и засадили не на политическое крыло, а в «изолятор». А это значит одиночная камера на уголовном крыле. Моим соседом оказался какой-то уголовный старик, занимавшийся уборкой коридора, справа же одиночка пустовала. Наверху во втором этаже была общая уголовная камера, где, судя по хриплым голосам и характерной по своей «выразительности» и образности речи, сидел цвет русской уголовщины. С первого же дня стало понятно, почему начальство угнездило меня в изолятор. Нужно было лишить меня возможности общаться с политическими заключенными, а через них и с волей. Цель эта, конечно, не была достигнута. Изолировать меня удалось очень ненадолго, но поиграть на моих нервах—жестоко поиграли.

Общая уголовная камера, находившаяся над моей, частенько лишала возможности спать, иногда чуть не всю ночь там происходили возня, гам, громкие разговоры у окон, русская «математика», клубничные рассказы, ссоры и т. п.

Первые дни мне все это казалось невыносимым. Чтобы не слушать отборной матерщины, я, несмотря на чудную летнюю погоду, даже окна не открывал. Уж очень неприятно и обидно было за этих людей. Не только матерщина, но даже самые темы разговоров были чудовищно безобразны.

С необычайным смаком повествовалось о таком чудовищном разврате и плутовстве, кутежах и воровстве, что право иногда,

казалось, много было тут просто вранья и бахвальства. И так каждый день. Как-то им не надоедало, как-то их не тошнило. Впрочем, один разговор остался у меня в памяти на всю жизнь, и припомнить его здесь будет совсем не лишним. Что-то темное, мстительное и зловещее чувствовалось в самом тоне той «вечерней беседы».

Было начало июня. В коридоре наступила вечерняя тишина, лишь в дальнем углу надзиратели тихо о чем-то разговаривали. Я тихо брожу в своем каземате, и каждый раз, когда поворачиваюсь к окну, мои глаза невольно устремляются к чуть видневшемуся голубому клочку неба, манящему вдаль на волю.

Тоска заползает в душу. Мысли о прошлом, о настоящем, будущем роем теснятся в голове. Камера делается как-будто еще теснее, воздуху нехватает. Неудержимо манит воля. Подошел к окну и отворил форточку. Хлынула струя свежего воздуха, освежая разгоряченную голову. Жадно глотаю вечернюю свежесть и пожираю глазами далекую синеву. Тишина. Я рад ей. Долго стою так; казалось, весь мир прислушивается к таинственной тишине...

Вдруг, как-будто кем-то испугнутые, обитатели верхней камеры всполошились, затопали ногами, зашумели. Уж не обыск ли у них? Но моя догадка, однако, не оправдалась.

— Эй, Бармаш, иди сюда! Смотри, ночь-то какая,—раздался сверху молодой и твердый голос. Приглашение было снабжено довольно крепким русским украшением, для печати весьма непригодным.

— Мне и здесь хорошо,—отвечает с другого окна немного сиплый голос:—на кой она...твоя ночь? Сиди тут, что кобель в клетке.

— А тебе бы Дуньку сейчас. Шалишь, брат,—уж другого подхватила да в Сокольники с ним, задрав хвост. А ты тут облизывайся...грызи решетку...—вмешался третий голос.

Началась уголовная беседа.

— Эй, эй, потише орите! Начальство не позволяет. Пора спать, а они содом подняли,—крикнул им со двора дежурный надзиратель.

— Слышь, Морозов, дух-то что кричит. Спать посылает, словно мы малые ребята, а он наша мамаша.

— Что, это он дело говорит. Чего горланить. Чай можно говорить потише. А вы всегда орете, глотки-то у вас...—вмешивается еще один собеседник. Замечание не понравилось ни Бармашу, ни Морозову.

— Учи свою жену щи варить да...—огрызнулся один из них, пустив в ход отборнейшее уголовное красноречие.

— Что хорошего слышно?—доносится с другого конца.

— Громче говори, ничего не слышу.

— Тише вы, только двое и орете. Дайте другим поговорить. Морозов, Бармаш, заткни фонтаны. Новости...

Бармаш и Морозов выругались, но все же затихли.

— Политические назначают голодовку,—начал новый голос.

— Какие политические, эс-эры?—перебивает Бармаш.

— А ты не перебивай, послушай сначала.

— Начальство снимает у них старост, сокращает выписку, урезывает свидания, одним словом, подтягивает,—повествует рассказчик.

— Так их и нужно. Я бы их еще не так подтянул,—опять перебивает рассказчика уже не Бармаш, а Морозов.

— Что они тебе помешали? Чего ты не поделил с ними? Поди, подлизывался к ним, а они тебе коленкой.

— Я, я? К ним, к этой с...—Бармаш, слышь? Я к ним подмазывался. Чтоб я, к этим б...м.

— Да, когда-нибудь мы к ним подмажемся, только с другого конца,—злобно отозвался Бармаш.—Не будь я Бармашом, если не отплачу за московское восстание.

— Стало вы заодно с полицией. Впервые слышу,—сердито и даже злобно раздался новый голос сверху.

— Кто это там говорит? Я заодно с полицией, ты меня за «лягавого» (шпионов уголовные так называют)? Да я тебе все салазки сворочу...—почти закричал Морозов.

Началось раз'яснение с перебранкой.

— Словно ты меня не знаешь. Вздурел ты. Я так сказал.

— За такое так по портрету бьют. Если не знаешь, не суйся. Ты думаешь, по чьей милости я теперь здесь сижу? По милости этих с....ей, политиков.

— Ну-у.

— Вот тебе и ну. Бармаш, слышь?

— Да нешто мы с тобой теперь были бы здесь,—перекликались в окно через железную решетку.—А все политики,—подтвердил Бармаш.

Многие, повидимому, усумнились. Кто-то даже грубо сострил.

— У них всегда кто-нибудь виноват: то толстая купчиха, то грудной младенец, то горничная... Теперь нашли других виноватых—эс-деков и дружинников. А им до вас—тьфу.

— Дела нет, дела нет... В чердаке-то у тебя сквозит,—передразнил Морозов:—а ты знаешь, кто мешал нам в московское восстание? Понял, осиновая твоя голова? Не понял. А туда же лезет, другим указывает, учит.

Судя по возгласам, раздававшимся из ближайших окон, можно было заключить, что очень немногие понимали, как это

могли оказаться виновными эс-эры в аресте уголовных Бармаша и Морозова.

И «пострадавшие» стали пояснять.

— Время-то, время было какое. Самое для нашего брата подходящее: только не ленись, работай. Полиция вся попряталась. Ночью народ тоже боялся выходить. Только кое-где дружинники... Магазины заперты, сторожа, дворники носа показать боятся. Кому охота получить пулю? Знамо дело, сиди себе в дворницкой. Зато нашему брату ко всему приступ вольный. Бери—что хочешь. Опаски почти никакой. Мы уже присмотрели-было в одном месте. Хорошую бы взяли «мотку». Вспомнить теперь—слеза прошибает. Все эти эс-эры, чтоб им... ни дна ни покрышки. Они на своих знаменах выставили «смерть вора́м». Говорили, будто дружинники убивали воров... Мы с Бармашом не из робких, да и другие у нас были тоже, а вот, подишь ты, сробели. Так и гонялись за нами эти флаги. «Смерть вора́м, смерть вора́м». Какое им дело было, этим сволочам? Что мы, ихнее что ли собирались брать? Чужого, изволите ли видеть, жалко! Все равно и их расколышматил Дубасов. Сколько их ведь перестреляли. Дураки мы были. Боялись кого. Этих... Какую мотку упустили! Ведь теперь я был бы с такой моткой где-нибудь в Одессе или Владивостоке барином. Магазин богатейший: бриллианты, часы, всякое золото. Его и спрятать было плевое дело,—горевали Морозов и Бармаш, вспоминая былое.

— Ну подожди. Придет время, мы им покажем. Будут и они нас помнить. Подумать только, такую мотку упустили. И все из-за кого? Тьфу, прости господи, — чуть не со слезами произнес Морозов.

Стоя у окна и слушая брань обиженных рецидивистов, мне хотелось крикнуть, что не только эс-эры, но и всякий честный человек должен был поступить так же. Ведь во время революционных взрывов нельзя отдавать население на потеху и грабежи уголовных шаек.

Лозунг «смерть вора́м» оградил Москву от грабежей и разбоев не только в полосе, занятой повстанцами, но даже и в районах, занятых дубасовскими частями. Казаки и уланы сделали однажды попытку разграбить винные магазины на Тверской ул.; но были разогнаны выстрелами т.т., случайно проходивших на поверку ночных дружин.

Долго еще Морозов и Бармаш ораторствовали и ругали эс-эров. Некоторые из слушателей возвращались к тюремным мелким новостям, к затеваемой голодовке политических, но эти темы не встречали поддержки. Об этой голодовке мне не было ничего известно, и очень хотелось узнать все подробнее. Но то, что я слышал, отбило у меня всякое желание, всякую охоту

пользоваться для каких бы то ни было целей услугами уголовных.

Через несколько дней меня перевели на политическое крыло и заперли в одиночную камеру нижнего этажа.

Порядки в то время в тюрьме были сравнительно вольные, существовало что-то в роде тюремной конституции.

Был центральный политический староста (если память не изменила мне, в то время таким был с.-р. Полушкин), у него имелось несколько помощников. Они заведывали выпиской продуктов, приемом общих передач, распределением прогулок, банных очередей, сносились с тюремной администрацией и т. д. Конституцию эту начальство наметило к сокращению: уже было об'явлено, что старосты по этажам будут упразднены, что будут сделаны некоторые урезки в свиданиях и еще в чем-то.

Все это волновало политических заключенных уж не один месяц, накаляя атмосферу до-нельзя, и, наконец, вызвало голодовку. Когда меня перевели на политическое крыло, вопрос о голодовке был уже решен; тем не менее, один из старост при первом же удобном случае подошел к моей дверной форточке и спросил:—Как ваше мнение?

— Какой же смысл имеет мое мнение, если этот вопрос у вас уже решен,—ответил я.

— Да, у нас он уже проголосован еще вчера. Теперь остается только условиться, когда начинать.

— Значит, мое мнение излишне: оно не может вызвать пересмотр.

— Никоим образом: протест назревал почти два месяца. Нас урезали с библиотекой, сократили получку книг с воли, а теперь уничтожают этажных старост... Хотелось бы знать ваше мнение вообще,—настаивал делегат;—ведь вас не было здесь при голосовании. Примете ли вы участие в протесте, т.-е. будете ли вы голодать?..

По тону, каким была сказана последняя фраза, мне показалось ясным, что мой собеседник был затруднен и смущен. В самом деле, ведь это было насилие надо мной, хотя бы и невольное.

— Своего решения сейчас вам не скажу. Если бы оно могло вызвать пересмотр, тогда другое дело. Я не сторонник такого рода протестов, тем более, что к ним очень часто и легко прибегают.

— Вы ошибаетесь,—перебил меня собеседник,—у нас этот вопрос всесторонне обсуждался. Полное единодушие... настроение такое, что сломить его совершенно невозможно.

Я возразил, что настроение—состояние, быстро преходящее, а голодовка требует от человека длительной стойкости, терпеливости, а главное—решимости на что-то очень серьезное...

— Значит, вы оставляете за собой свободу действий?— заключил он и, получив мой утвердительный ответ, удалился.

Странное впечатление произвел на меня этот разговор. Я бы никогда его не завел, если бы был на месте своего собеседника, да и он, пожалуй, тоже, но его заставили товарищи, народ молодой, пылкий и, как потом оказалось, совсем плохо обдумавший предстоящий протест. «Голодать, голодать! И голодом принудить администрацию к уступкам», забывая, что почти всегда уступчивее становятся не сытые, а голодные. А у нас собрались голодать 130 чел., рассаженные по одиночным камерам, мало знакомые друг с другом, резко отличающиеся по своему развитию и взглядам.

Вечером к моей фортке подошел центральный староста, довольно симпатичный шатен с добродушными глазами, и об'явил о начале голодовки со следующего утра. Поговорить с ним мне не удалось, ибо его зачем-то позвали в контору.

Наступал вечер. Поверка камер кончилась. Сменились надзиратели. На политическом крыле всеобщее оживление. На окнах, украшенных железными решетками, появились узники. Пошли разговоры через весь двор, потому что приходилось переговариваться не с соседями, а с далекими камерами. Образовалось что-то в роде клуба, но клуба особенного—тюремного, ведь разговаривали обитатели одиночек. Надо было иметь уже продолжительный стаж, чтобы из этих «перекликов» во все горло уловить одну мысль, выделить ее из общего хора звуков.

Повидимому, администрация к таким клубам относилась равнодушно. О чем только ни говорилось во время этих тюремных заседаний: и горячие споры о программных разногласиях всевозможных партий, начиная с анархистов и кончая бундовцами; здесь можно было слышать и легкомысленные разговоры и неосторожные в конспиративном отношении воспоминания не только о самих собеседниках, но и о товарищах, здравствующих на воле. Охранное отделение, как потом оказалось, широко использовало эти клубы, в пустые камеры подсаживая ловких шпионов. Мало того, оно даже в одиночках держало провокаторов с теми же целями. В дальнейшем увидим, как были легкомысленны некоторые из заключенных, и как лукаво действовали агенты охраны. В упомянутый вечер главной темой была предстоящая голодовка. Единодушия полного, конечно, не было.

По числу голосов мне удалось приблизительно выяснить наличность противников и сторонников голодовки. Оставалось только наблюдать тех и других и оценивать их взаимоотношения, уже тогда предвещавшие полную неудачу затеянного протеста. Где нет единодушия, взаимного чувства уважения и доверия, там всякое дело гибнет. Кроме того, многие

слишком несерьезно смотрели на этот протест, хотя и горячо его защищали.

— Павел Иванович, ты меня слышишь? — кричит из дальнего угла приятный тенор.

— Слышу, слышу.

— По-моему, следовало бы начало голодовки отложить и вот почему, — кричит тенор.

— Никаких отсрочек. Знаем мы эту волынку. Павел Иванович, ты Мазурина не слушай, — отвечает немного сиплый голос.

— Пенкин, я не с вами разговариваю.

— Знаю я. Вопрос решен.

— Правильно, Пенкин: вопрос решен. Никаких откладываний и проволочек. Нашего старосту сегодня совсем не пускали по коридору, — слышались голоса с разных сторон. — Если мы будем откладывать да пересматривать, они совсем нас подтянут и на окна даже запретят вылезать.

— Николай, пора тебе бросить эту дипломатию. Не хочешь голодать, не голодай... Жди от начальства...

— Опять начинается. Дело не обо мне, а вообще я не вижу серьезного отношения, — перебивает тенор.

— Послушайте его... Только он серьезен... а другие нет.

— А вот увидите скоро, кто серьезен, — с горечью возражает Мазурин.

Началась неприличная перепалка, возмущившая многих.

— Довольно вам. Пенкин, ты чего хорохоришься, чего подковыриваешь. Цыплят по осени считают... Да и ты, Николай, поднимаешь бесплодный разговор, — вмешался чей-то глухой голос...

— Собрались серьезно дело делать и еще до начала уже затеяли свару, — не выдержал я: — грош цена такому протесту в глазах администрации.

— Правильно, — поддержало меня несколько голосов.

— Нынче никаких разговоров об этом. Завтра с утра начинаем. Из камер вся еда должна быть выброшена в окно, — кричит Пенкин.

— Сахар тоже выбрасывать? — спрашивает какой-то чужак.

Над ним острят: — Пожалуй оставь, будешь сосать. Может и шоколадом закусишь.

— Все вон из камер, — сипло кричит Пенкин: — вот я и чай выбросил, — прибавляет он, швырнув какие-то пакеты.

— Bravo, Пенкин. Голодать, так голодать.

— По-моему и книжки вон, — кричит кто-то не то в шутку, не то всерьез.

— Пенкин, а ведь этот вопрос у нас не поднимался, надо его обсудить.

Судя по всему, некоторая часть заключенных явно считала Пенкина авторитетом.

— Павел Иванович, а ведь мы в самом деле проворонили вопрос с книгами?—обращается Пенкин к своему соседу.

Павел Иванович не сразу отвечает. Его и на окне нет. Пенкин безрезультатно повторяет свое обращение:

— Павло, да что ты сдох, что ли... Братцы, Павел Иванович весь вышел,—смеясь кричит на весь двор Пенкин.

Хохот, и не знаю почему, но поведение последнего мне целиком не нравится. Ни дурного, ни хорошего ничего я о нем не знаю, а что-то чудится неладное. Сидит он от меня далеко. Мои немногочисленные знакомые размещены в других этажах и тщательно скрывают наше знакомство. Наиболее близко знал меня наш химик «Михаил», с которым я имел дело в декабре 1905 г. в Москве. Он мало разговаривал на окне. Тем не менее с ним считались, и он был в своем этаже старостой. Пробовал он со мной поговорить намеками, но это плохо удавалось.

— Завтра утром я постараюсь к вам подойти хоть на минуточку,—сказал он.

— Товарищ Панкратов, за что вас арестовали?—как-то неожиданно спросил меня Пенкин.

Этот вопрос мне не очень-то понравился.

— Не ходи по земле, а летай по воздуху. Но у меня еще крылья не выросли,—умышленно отвечаю в шутливом тоне.

— А вы знаете, что в газете о вас напечатано? Сегодня у меня была жена на свидании и принесла пирожки, завернутые в клочек газеты. Там прописано: «арестован В. С. Панкратов, участник московского восстания.»

— Пенкин, что за чушь вы говорите. Бросьте!—перебивает чей-то далекий голос.

— Ей-богу не вру. Спроси Бруно. Я ему передал этот клочек,—возражает Пенкин.

— Это охранка пустила в печать. Она меня арестовала, она и сочиняет. Стоит ли об этом говорить,—вмешиваюсь я, чтобы оборвать щекотливую тему.

— Вас на допрос вызывали?—спрашивает меня какой-то ближний сосед с другого этажа.

— И что же?

— С вами говорит Беланов,—прибавил мой собеседник, очевидно, почувствовав в моем тоне оттенок недоверия.

Беланов сидел за ограбление кассы сельско-хозяйственного института. По этому же делу сидел и Бруно, и Василий Клепиков, рабочий. Первые—оба студенты-марксисты. Все трое сидели в одном углу и часто так неосторожно разговаривали, что приходилось им на это указывать. Беланову очень хотелось знать

мое прошлое, знать, за что меня арестовали, чем я занимался, в какой партии работал, о чем спрашивали меня на допросах и т. д.

По старому обычаю, я отклонил всякие вопросы, с первого же раза заявив, что прошу ни о чем меня не спрашивать, ибо ответов давать не буду.

— Вы один, с вами никто не арестован?—продолжал Беланов и, получив мой утвердительный ответ, он с горечью признался:—А мы вот трое по одному делу развели такую канитель, впутали в нее и Жданова. Кажется, Гершельман всем наденет галстуки.

Настроение у Беланова, Бруно и Клепикова было подавленное. В тот год московским ген. губернатором был Гершельман. У него часто действовали полевые суды, которые правильнее было называть не судами, а расправами...

Накануне голодовки клуб политического крыла закончился довольно недурным сольным пением Н. Мазурина, вполне приятно спевшего несколько отрывков из разных опер. После скучных однообразных разговоров и споров на разные тюремные темы приятно было слышать молодой хороший тенор. Для меня все же оставалось непонятным снисходительное отношение начальства к таким вопиющим нарушениям тюремного режима. Секрет потом открылся: оно из этих разговоров «выуживало», что ему было нужно, и при их помощи многое раскрывалось.

На следующее утро заключенные отказались принять пайки хлеба и кипятка. К моей фортке подошел высокий блондин—наш химик во время московского восстания, с горечью укорявший меня за отказ удрать за границу.

— Разве вы не замечали развала, морального разложения с 1906 года? Я считал вас уже давно парижанином. А вы здесь. Нехорошо.

— А вы почему здесь? Вам-то в первую голову надо было,—перебил я.—Что за публика здесь сидит? Вы многих знаете? Ведь у меня кроме вас, Андреева, Мазурина никого нет знакомых.

— Этому можно только порадоваться. Тут у вас есть еще знакомый, но он вас не узнал. Это Пенкин. Помните, пресненский рабочий. Помните в техническом бюро парня невысокого роста? Иногда он кажется ничего себе, а иногда я его не понимаю... боюсь... Павел Иванович его избаловал. Впрочем, не стоит говорить, но советую быть осторожным, сами знаете, в чем дело. Об одном усиленно прошу, не ввязывайтесь в нашу нелепую голодовку.

— Волей-неволей, а придется. Никому об этом не говорю, но не могу же я есть, когда кругом голодают.

Михайлов изумленно посмотрел на меня и почти выругался:

— Вот уж этого я от вас не ожидал. Еще не поздно, вы никому не об'явили и должны изменить свое решение. Вы в праве это сделать: вопрос голосовался без вас.

— Господин Михайлов, идите в свою камеру. Приказано никого не выпускать,—сказал подошедший старший надзиратель, звеня ключами.

— Я вас прошу... прощайте,—крикнул мне Михайлов, когда надзиратель начал его торопить.

Администрация, узнав о начатом протесте, приняла со своей стороны меры, приказав никого не выпускать из камер, даже центрального старосту. Заключение рано вылезли на окна и открыли клуб, стараясь заморить червячка разговорами. Распоряжения тюремной администрации только «подхлестнули» и без того взвинченное настроение. Самые ярые стали настаивать на голодовке до конца, пока не удовлетворят всех требований. А эти требования заключались, главным образом, в сохранении старост, избираемых из среды заключенных, в свободном их хождении по политическому крылу, в свободном пользовании библиотекой, в увеличении времени свиданий, в расширении прав и вольностей центрального старосты, на которого возлагалась обязанность вести всякие экономические и дипломатические сношения с тюремной администрацией, и целый ряд других мелких требований.

Начальник тюрьмы (фамилию забыл) вызывал к себе центрального старосту, убеждал отговорить заключенных от голодовки, доказывал, что все исходит от высшего начальства, которое не расположено идти на уступки, что время либерализма прошло, что он, начальник, ждет приезда прокурора и губернатора.

Этот разговор старосты был передан заключенным и обсуждался на все лады. Находились даже жестоко упрекавшие старосту за его деликатное поведение с начальством.

— С ними надо разговаривать круто, а это что за переговоры,—кричал Пенкин.

— Что верно, то верно,—слышалось одобрение.

— Тогда мы выберем Пенкина, посмотрим, как он будет.

— Пенкина, Пенкина!

— А ну вас к шуту. Я ни за что не пойду,—отказывался инициатор крутой дипломатии.

Появилась новая тема для споров. Центральный староста, уставший от двойной трепки по тюремным делам, стал настаивать на замене его кем-нибудь другим, более подходящим. Однако, охотников не находилось. В самом деле, роль старосты была самая несносная: изволь с администрацией ладить и в то же время отстаивать интересы и требования заключенных, часто совершенно забывающих, что они не на воле, и пред'являющих неосуществимые претензии. Когда люди поставлены в ненор-

мальные условия, когда они лишены свободной деятельности в течение многих месяцев, как это бывает с заключенными в тюрьмах, но когда они не лишены возможности говорить, говорить без конца, не считая себя ответственными за свои слова, то очень немногие сохраняют способность самокритики, способность взглянуть на себя со стороны, проверить свои собственные поступки.

Именно на этой-то почве и развивается у одних мания преследования, у других — мания величия и в особых случаях — крайний эгоизм.

В нашей Таганке, как потом увидим, многие были с такими странностями. Первый же день голодовки прошел негладко. В мазуринском углу два соседа повздорили, упрекнув друг друга в неполной голодовке. Один сказал, что его сосед просил хлеба у уголовного, приходившего выносить мусор.

— Врешь ты, — протестовал тот.

— Завтра увидим, кто врет. Это бессовестно, кричал больше всех, а и дня не выдержал... да еще скрывает.

— Перестаньте. Что вы все вздорите, — останавливал его Мазурин, — надзиратели прислушиваются. Завтра все будет передано начальству. Какая цена вашей голодовке?

— Чорт ее побери: к вечеру есть здорово захотелось, — сипло и шутливо кричит Пенкин.

— погоди, завтра еще не так захочется. Кто там у уголовных хлеба выпрашивал? Это подлость. Я требую предать гласности такой гнусный поступок, — слышалось категорическое требование.

Мазурин ответил, что это обвинение еще не проверено и совсем несвоевременно предавать его огласке. Уже почти все знали или подозревали некоторых в малодушии и нестойкости. Но выводить отступников на свежую воду никому не хотелось.

Второй день дал себя знать многим. К вечеру оказалось, что уж целых трое тайком от товарищей у уголовных уборщиков выпросили хлеба. Уголовные сообщили об этом Мазурину и другим. Вышел целый скандал. Началось следствие. Нашлись защитники и обвинители. Пошла перебранка, лукавство, трусость и лицемерие. Нехорошим повеяло по тюрьме. Несколько малодушных, слабых на дело, но крикливых на словах и несдержанных на язык уличали в самых неблагоприятных поступках: они тайком едят хлеб и в то же время уверяют, что голодают. Мало того: у таких находятся защитники.

— Это подло, — горячо говорит Мазурин. — Я требую переголовки, кто за продолжение голодовки.

— Постановка вопроса неправильная; надо формулировать так: кто голодает, — возражает ему какой-то крючкотвор.

— Фальшивая формулировка. Сейчас он голодает, а через пять минут выпрашивает у уголовных хлеба.

— Я протестую против такой оценки. Она оскорбительна для товарищей. Она недопустима,—прокричал кто-то на весь двор.

— А обманывать товарищей не оскорбительно, допустимо? Это постыдно,—повторяет Мазурин,—если смалодушничали, то говори честно, не обманывай...

— Зачем так круто?—протестует Пенкин. Его поддерживает, кажется, Павел Иванович, стараясь смягчить слова Мазурина.

Все это только подогревает малодушных и их защитников. Они жестоко нападают на Мазурина, бросают какие-то намеки. За Мазурина горячо вступаются другие, и дело разгорается просто до неприличной словесной баталии. Становится невтерпёж.

— Господа, по-моему лучше всего прекратить ваш неподходящий спор. Затеяли вы общее дело, и двух суток не прошло, как уже завели ссору. Так нельзя, я настаиваю на прекращении... Ведь вы чорт знает до чего договорились.

Повидимому, кой на кого подействовали эти слова, на минуту настала тишина. Ею воспользовался центральный староста, вернувшийся из конторы, куда его вызывало тюремное начальство.

— Внимание, товарищи. Завтра ожидают прокурора и губернатора. Вероятно, придется разговаривать. Надо обсудить линию поведения и для переговоров выбрать определенных лиц.

— Ты—центральный староста, тебе и придется. Зачем же выбирать новых,—раздается со всех сторон.

Полушкин просит освободить его и заменить кем-либо другим.

— Одному нельзя, нужно двоим.

— Не двоих, а троих, пятерых—сыплются разные предложения.

— Никак не менее троих. Надо поручить переговоры троим.

Снова бесконечные споры. Заключение разбиваются на партии. Целый вечер убит на бесплодную трескотню. Ни до чего не договорившись, все спустились с окон к своим койкам, оставив вопрос открытым.

На следующий день кто-то из голодающих принес весть, что уголовные собираются присоединиться к нашей голодовке, и дня через два голодать начнет вся тюрьма.

— Ни коим образом нам не следует обращать на это внимание,—не вытерпел я, припомнив сказанное по поводу московского восстания.

— Мы не должны пренебрегать такой силой, ведь их более 300 человек,—заметил один из анархистов.

Пришлось рассказать об угрозе Морозова, Бармаша и компании.

Наконец, пронесся слух о приезде губернатора и прокурора и яко бы они желают вступить в переговоры с представителем голодающих. Последние—не все, конечно—поспешили это истолковать в свою пользу, считали победу за собой.

Снова пошли споры, укоры, пререкания, но отнюдь не обсуждения и, особенно, не решения.

Тюремная администрация заявила старосте о желании губернатора выслушать представителя заключенных. Староста отказался итти, заявив, что для этого будут выбраны три лица.

— Зачем именно три, а не один?—спрашивал смотритель.

— Так у нас постановлено.

— Не знаю, пожелает ли губернатор говорить с толпой,—сказал смотритель и удалился.

Этот коротенький разговор вызвал среди голодающих горячие и бесконечные прения, критику, недовольство. Слова «три» и «пять» склонялись на все лады.

— Никоим образом не уступать, соглашаться только на трех.

— Знаем мы, как они будут разговаривать с одним, а с тремя не посмеют!

— Ну и вздор: не посмеют! Если захотят, то хоть десять выберете, и десятерых в карцер отправят. Чего зря спорить и тратить время?

Между тем время шло. Губернатору, очевидно, надоело ждать и он уехал из тюрьмы часов в 6, сказав начальнику, что с завтрашнего дня тюрьма будет об'явлена на военном положении.

И, действительно, на завтра же в тюрьму были введены войска. По всем коридорам защелкали замки винтовок, двор был тоже занят солдатами, которых «бравый» блондин-офицер выстроил в карре, приказав зарядить ружья боевыми патронами.

Надзиратели предупредили заключенных не шуметь, чтобы не вызвать кровопролития.

Любопытство толкнуло меня вылезть на окно и посмотреть, что делается во дворе. На окнах никого. Во дворе важно, в боевой позе стоит офицер, первно оглядывая окна наших камер. Увидав меня, кричит:—С окна долой! Солдаты держат ружья на-перевес.—Не ухожу с окна и молча продолжаю смотреть.—Долой с окна,—повторяет офицер. Опять остаюсь неподвижно, думая: неужели будут палить. Глупо и бесцельно.

В это время щелкнул замок, отворилась дверь и в камеру вошли несколько человек солдат, офицер и начальник тюрьмы.

— Ну, должно быть в карцер отправят,—мелькнуло в голове, когда я слезал со стола и табуретки.

Вошедшее начальство вежливо поздоровалось и сразу рассеяло мое подозрение.

— Господин Панкратов,—обращается ко мне начальник,—мы пришли к вам по указанию центрального старосты. Вы знаете, на каком положении в настоящее время тюрьма.

— Я знаю только о голодовке... Не понимаю, с каким поручением мог вас направить ко мне староста. Я его никогда не знал ранее и мое знакомство с ним произошло только здесь,—перебил я начальника, заподозрив в его словах провокацию.

— Вы не выслушали меня,—останавливает начальник,—тюрьма об'явлена на военном положении; мне, как начальнику, да и вам, как человеку уже немолодому, нежелательно бессмысленное кровопролитие. Соблюдение тишины и порядка в тюрьме возложено на воинские части.

— При чем же я тут? Я здесь новичек и никого из заключенных не знаю.

— Однако, ваш староста указал именно на вас,—заговорил уж офицер с довольно интеллигентным лицом,—дело, видите, вот в чем: во что бы то ни стало надо избежать применения оружия... необходимо успокоить заключенных... предупредить их, чтобы они не шумели на окнах, не волновались, не раздражали солдат и офицеров... вы знаете, в таком состоянии... малейшая необдуманность, несдержанность может вызвать совершенно неожиданные печальные результаты. Я не компетентен вмешиваться в вопрос о голодовке, но, как человек, прошу вас сообщить вашим товарищам по заключению, чтобы они соблюдали тишину и не кричали бы на окнах, иначе солдаты будут стрелять. С такою же просьбой обращается к вам и ваш староста, который по каким-то причинам сам отказался это сделать и указал на вас.

Спокойный тон, каким было сказано все это, показывал, что предо мной стоит не только офицер-рубака, а прежде всего человек и человек, думающий о сохранении своей чести, чуждый кровожадности и избегающий позорного гарцованья перед безоружным противником.

— Хорошо, я это сделаю, но со своей стороны прошу вас внушить вашим подчиненным то же спокойное отношение... Они—люди свободные. Офицера, который командует отрядом во дворе, я просил бы заменить другим. Сейчас я наблюдал его в окно... он нервирует солдат и сам нервничает, как-будто готовится к бою. С кем? С безоружными узниками. Разумеется, не мое дело вмешиваться в распределение офицеров, но в интересах тех же целей, о которых вы говорите, я убедительно просил бы заменить его другим, более спокойным...

Согласие последовало без возражений. И когда усатый офицер был заменен другим, я вылез на окно, вызвал товарищей и прокричал поручение офицера и центрального старосты.

По камерам—гробовое молчание. На окнах не видно почти никого. Клуб замер. Только топот солдатских сапог в коридоре не умолкает. Наступила ночь, нудная, мутная. А вдруг какая-нибудь неосторожность, случайность? Однако все прошло благополучно. Пыл к голодовке у инициаторов совсем остыл. На другой день солдаты были уведены. Клуб понемногу стал оживать. Со всех сторон раздались призывы прекращать голодовку немедленно.

Опять пошли споры, дразги, злобные обвинения.

— Поголодаем еще дня два, уголовные говорят, что с завтрашнего дня и они присоединяются,—кричит Пенкин.

— Да ну тебя к чорту с ними. Дурака валяют. Почему с самого начала не присоединялись?—кричит эс-эр Колчин,—кончать голодовку, ерунда.

— Кончать, кончать, мы завтра с утра едим,—поддерживают его со всех сторон.

Протест голодовкой кончается на пятый день. Начинается взаимное перемывание косточек. Тюремный порядок входит в норму. Отменяются этажные старосты, урезают библиотеку и сокращают свидания с родными. Несколько дней самочувствие у многих прескверное. Вскоре, впрочем, совершились два события, затмившие бесплодную, плохо обдуманную голодовку.

В нашу тюрьму, в изолятор, перевели Бердягина, довольно известного эс-эра, человека боевого, благородного, даровитого. Ему предстоял военный суд, приговор которого уж заранее был известен — смертная казнь... Многие знали Бердягина. И вот однажды, когда его проводили по нашему двору в баню, он спокойно крикнул одному своему товарищу, который спросил его, чего он ждет.

— Конечно виселицы... Но я не доставлю им этого удовольствия и скажу об этом на суде.

Через несколько дней Бердягин исполнил свое обещание. На суде он заявил, что не желает участвовать в комедии суда, и любоваться своим трупом, болтающимся на веревке, он не позволит. Накануне казни, несмотря на самый бдительный надзор, он зарезался в постели. Отточив черепок алюминиевой ложки об асфальтовый пол, он вскрыл себе артерии. Сторожа, пришедшие утром, чтобы вести его на виселицу, нашли холодный труп и лужу крови под кроватью.

Смерть Бердягина произвела гнетущее впечатление. Она всех как бы придавила своей молчаливой мощью, загадочным величием большого характера.

Железная воля Бердягина как бы посрамила так недуманно проведенную голодовку.

Мало-по-малу клуб стал оживать. По вечерам на окнах появлялась публика, но общих бесед уже не заводили. Разговаривали больше ближайшие соседи.

Однако, однажды Павел Иванович сообщил во всеуслышание, что жене Пенкина начальство сказало, что оно готово выпустить его на свободу под залог в 300 рублей. Но таких денег у ней нет. Надо собрать как-нибудь. Пенкин—рабочий с Прохоровской фабрики.

Тюрьма отозвалась сейчас же. На другой же день деньги были собраны, и через три или четыре дня Пенкин очутился на воле. Однако, за этой радостью грянула отвратительная подлость Пенкина: выйдя на волю, он выдал четырнадцать рабочих.

— Каков негодяй! То-то он разыгрывал из себя самого ярого. Ловко поддел. Многие последние деньги отдали. Такого подлеца надо немедленно убрать, надо дать знать на волю. Его уберут...—негодовали его ближайшие товарищи.

На этот счет строились всевозможные планы. Что из них вышло, не знаю. Меня перевели в Бутырскую тюрьму, а затем отправили в ссылку в Якутскую область на 5 лет.

В. Панкратов.

Протест в Шлиссельбургской каторжной тюрьме.

Весь путь моей шестилетней каторги и трехлетней ссылки в Сибири испещрен эпизодами, ярко иллюстрирующими систему истребления всех, дерзнувших словом, действием или просто одним только помыслом выразить недовольство полицейско-жандармским самодержавным строем прежней России.

В сущности, если считать годами, то не слишком долг этот путь: каторги шесть, а ссылки всего только три года. Но физические и моральные результаты этого «недолгого» срока знает не всякий, и для того, чтобы можно было представить себе его последствия, я изложу здесь один эпизод, имевший место в Шлиссельбургской крепости.

Шлиссельбургская тюрьма отличается многим от других центральных тюрем. Прежде всего она расположена на маленьком острове, у самого устья р. Невы и Ладожского озера, в 60-ти верстах от Ленинграда. Связь с внешним миром поддерживается летом только катерами и лодками. Заключенным, поэтому, почти совершенно приходилось оставлять мысль о побеге. Удачный побег из крепости, стена которой имеет высоту 7, а толщину $2\frac{1}{2}$ саж., невозможен. Кроме того, водное пространство является второй крепостью, окончательно заставляющей отбрасывать даже мысль о «досрочном освобождении». Сообщение заключенных с «волей» в Шлиссельбурге также было несравненно более трудным, нежели из других тюрем. Администрация, учитывая эти обстоятельства, могла свободно проводить в жизнь все способы утонченного издевательства в истреблении обитателей Шлиссельбургских застенков.

Эту возможность она никогда не забывала и широко ею пользовалась.

Двенадцать специальных карцеров почти всегда были заполнены, а когда их оказывалось недостаточно, то несколько камер или даже целый корпус отводились также под карцер.

В 1912 году, после Ленских событий, и вообще в виду некоторого оживления революционной деятельности, усилились

и строгости тюремного режима. Администрация Шлиссельбурга в унисон реакции поспешила дать себя почувствовать заключенным. В этот момент она применила даже те способы унижения человеческого достоинства, которые не всегда применялись в других тюрьмах даже к уголовным каторжанам.

В крепости нередко бывало высшее тюремное начальство, указывавшее, что режим Шлиссельбурга не строже более «культурных» европейских тюрем, на который жаловаться нельзя.

Тогда же, в 1912 г. в июле месяце, точно электрический ток, все корпуса крепости облетела весть, что к трем товарищам-политкаторжанам (фамилии не указываю) было применено телесное наказание яко бы за некорректное обращение с надзирателем.

В нашу камеру была передана записка, кратко сообщавшая о случившемся и предлагавшая на этот вызов тюремной администрации ответить протестом против телесного наказания, отказавшись от подчинения и вообще от выполнения тюремной дисциплины.

Следует заметить, что в Шлиссельбургской крепости, где целыми десятилетиями заключенные лишены были возможности организованным порядком выразить свой протест против жандармского насилия, массовый протест заключенных администрации тюрьмы и высшей тюремной власти был чем-то необычным, что должно было повлечь за собою необычайные же последствия.

Получив сообщение о случившемся и после обмена мнениями со всеми находившимися в камере 15 заключенными, к протесту решили присоединиться только четверо: я, Луко, Анерсон и, кажется, Рейнфельд. Остальные по разным причинам отказались: одни уже были обезличены тюремным режимом и долголетним заключением, совершенно убившим в них дух борьбы и революционности, а другие по роду своей судимости не принадлежали к категории политических. Такое отсутствие солидарности создавало в камере некоторое пессимистическое настроение, но жестокий факт варварской расправы вызвал бурю негодования, жажду борьбы и мести. Хотелось скорее увидаться с товарищами из других камер и корпусов и поговорить о способе отпора зарвавшимся тюремщикам.

9-е июля было днем (если не изменяет мне память) начала протеста. Протест должен был выражаться во всем, что противоречило бы общему порядку в тюрьме, что нарушало бы тюремный режим и дисциплину, а в каждом поступке протестующего должно было выявляться полное презрение к администрации.

Конечно, такое положение вещей не могло долго продолжаться; в первый же день администрация тюрьмы должна была что-то предпринять, как-то реагировать на наш протест.

Так и получилось. В течение всего 9-го июля мы использовали все имеющиеся в нашем распоряжении средства, при чем администрация все время старалась избегать соприкосновений с заключенными. Последняя форма протеста в этот день—не стать на вечернюю поверку—должна была решить и положение нас четырех, а заодно и всех остальных участников.

Мы совершенно не представляли себе числа присоединившихся к нам товарищей, так как все четыре корпуса тюрьмы были совершенно разобщены между собою и всякое сообщение между ними, и всегда нелегко удававшееся, в это время было, конечно, всемерно затруднено. Между тем именно сведения о количестве участников протеста нас интересовало больше всего.

В этот день у нас оставалось последнее средство протеста—не стать на поверку в ряд по два и не отвечать помощнику начальника тюрьмы на его «здорово».

Приближался роковой вечерний час поверки. Все находившиеся в камере, кроме нас четырех, нервничали, разговаривали мало и быстро ходили по камере, подняв необыкновенный кандалный звон. И казалось: им этот час был более мучителен, нежели нам. Они с нетерпением ждали, что произойдет сейчас у них на глазах, а мы, однажды навсегда разрешив вопрос, знали, что сегодня в камере ночевать не будем, что сегодня же увидим многих товарищей из других камер и корпусов и узнаем все подробности о случившемся. Этого только мы и хотели.

Наконец, в одном из коридоров нашего четвертого корпуса послышался свисток—сигнал, говорящий о поверке по камерам. По обыкновению все стали по одну сторону попарно в ряд, за исключением нас троих. Товарищ Луко в то время уже был вызван из камеры и обратно не возвращен. Мы трое расположились, как кому вздумалось: я стал к окну, т.-е. спиной к входящему помощнику начальника тюрьмы и его свите, другой т. начал ходить по камере, делая вид, что он никак не реагирует на приближающуюся процедуру поверки, а третий тоже предпринял что-то в этом роде. Вдруг зазвенела связка ключей и дверь распахнулась. В камеру влетел помощник начальника тюрьмы с ватагой надзирателей и вместо обычного «здорово» быстро подскочил ко мне с криком: «Ты почему не стоишь как следует на поверке»? Я едва успел ответить ему: «за нечеловеческое обращение к товарищам не желаю подчиняться», как вдруг с шумом дико набросились на меня несколько надзирателей... В результате, не помню уж как, я очутился в коридоре. У противоположной стороны коридора я увидел группу товарищей, выброшенных из других камер. Остальные двое моих сокамерников вслед за мной вскоре также очутились за дверьми.

Как только окончилась «поверка» на нашем коридоре, нас всего около 40 человек представили лично начальнику тюрьмы Зимбергу, именовавшемуся заключенными «чухной» (говорят, он был эстонец). Зимберг обратился к некоторым товарищам с вопросом: «Как твоя фамилия?». Не получив ответа, он побагровел и произнес «приговор»: «На тридцать суток в карцер, а кто без кандалов—заковать». Последовала команда: «направо шагом арш» и т. д. Нас увели.

Этим окончилась первая часть выступления, представлявшего результат перенапряженных нервов, вновь проснувшейся ненависти и злобы к палачам и чувства мести за оскорбленных товарищей.

Выслушав «приговор» и команду, мы направились вниз по лестницам к выходу. Окрик тюремной стражи указал нам дорогу во второй корпус-изолятор (бывшая старая тюрьма), который находился в углу крепости, примыкая одной стороной к крепостной стене, а другой—к «светличной башне», где имелось несколько карцеров и камера царевича Иоанна Антоновича, которая в качестве «исторической» всегда оставалась свободной и запертой громадным висячим замком. Кроме того, этот второй корпус, находившийся внутри крепости, был отделен особой высокой стеной от других трех корпусов, где содержались остальные заключенные.

Войдя в него, мы узнали, что все двенадцать камер на нижнем и верхнем этажах превращены в карцеры, куда должны были быть помещены участники протеста. В одну из этих-то камер нас и поместили. Вместе со мной было вброшено еще 14 человек. В камере, как и полагалось для карцера, не было кроме «параши» ничего. Сидеть можно было только на асфальтовом полу или на корточках. Если же принять во внимание, что дело происходило в июле—августе месяцах, на севере, когда со стороны Ладожского озера всегда подувал свежий, сырой ветер, а одеты мы были по-летнему (парусиновые брюки и бушлат), то, ложась спать на асфальтовый пол, можно было вполне рассчитывать получить воспаление легких, ревматизм или еще какую-либо иную болезнь.

Оставшись одни, мы первым делом установили перестукиванием связь с боковыми и верхней камерами, дабы узнать, кто в них помещается, из каких корпусов и как происходило там начало протеста. Спустя несколько минут удалось узнать, что все камеры этого корпуса и остальные специально приспособленные для этого случая карцеры заняты участниками протеста. Прошло еще несколько минут, и все они были наполнены прибывшими из других корпусов протестантами.

В результате перестукивания решено было протест продолжать, требуя начальника главного тюремного управления.

Каждая камера-карцер по утрам и вечерам должна была петь революционные песни. Последнее окончательно приводило в бешенство тюремную администрацию, и как только началось пение, надзиратели, узнавая выделяющийся из общего хора знакомый голос, вызывали его обладателя и уводили в башенные карцеры, еще более кошмарные и убийственные.

Так мы начали отбывать тридцатисуточный карцер. Первые дни из каждой камеры очень регулярно и воодушевленно неслись звуки революционных песен. Товарищи непрерывно перестукивались, делились впечатлениями и разными сведениями. Голод и отсутствие достаточного количества воздуха хотя и сильно давали себе чувствовать, но все же у нас пока хватало силы и бодрости стойко переносить все лишения. Но по прошествии 15 дней товарищи в нашем карцере начали заболеть. Выбываясь из сил, некоторые ложились спать и долго оставались на голом полу, в результате—воспаление легких; у товарищей со слабым желудком начался катарр, ибо ломоть хлеба, выдававшийся нам в карцере, был настолько сырой и кислый, что у многих желудки совершенно перестали его переваривать.

Я помню, как один из моих друзей по каторге т. Маковский, страдая несколько дней желудком, окончательно перестал есть. Просиживая на «парашах» целыми часами, он потом вдруг замертво падал на пол. Один из тех, кто еще мог держаться на ногах, спешил к нему на помощь, а другие начинали бить в дверь чем попало, требуя фельдшера или доктора. На весь творившийся в карцерах ужас администрация тюрьмы не обращала никакого внимания, мало того—она злорадствовала и оставалась абсолютно равнодушной к требованию врача для больного товарища, или что заболевший уже умирает, не дождавшись врачебной помощи. С большим трудом удавалось добиться перевода опасно больного из карцера в больницу. На наши заявления ответ был всегда один: «после окончания карцера будет оказана помощь —в карцере лечить не полагается».

На наше требование о вызове начальника главного тюремного управления явился его помощник, об'яснивший, что начальник где-то в Сибири по делам службы. Когда помощник вошел в один из карцеров, то после команды: «смирно, встать!» все находившиеся в нем оставались лежать на полу, а встал лишь только тот, кто должен был сделать ему заявление. В результате взбесившийся помощник даже не захотел с нами разговаривать и вышел из карцера, не выслушав заявления. А вслед ему загремели мощные звуки революционных песен. Так, из этого посещения ничего хорошего для заключенных и не вышло. Наоборот: вскоре после визита помощника многие из числа протестующих были высланы в знаменитый Орловский централ

«на исправление», где их «приняли» по всем правилам романовской системы.

К концу тридцатых суток в нашем карцере вместо 15 оставалось всего шесть человек. Остальные девять частью были взяты в больницу, где некоторые медленно умирали, частью же— были переведены в башенные карцеры.

За время нашего пребывания в карцере в течение этих тридцати суток в других карцерах происходило нечто подобное.

Впоследствии по приблизительному подсчету из общего числа приговоренных к карцеру за этот период серьезно заболело около 30%, из которых многие умерли тогда же, а другие остались с навсегда надорванным здоровьем. После нашего выступления процент смертности среди заключенных Шлиссельбургской крепости значительно повысился. Подобный факт мог обратить на себя внимание общества, навлечь нарекания на высшую тюремную власть, поэтому в 1913 году начались отправки партиями больных заключенных в другие центры и на юг. В одну из них попал и я, как больной. Я был выслан в Херсонский централ.

Теперь прошло уже около двенадцати лет со времени изложенного мною маленького эпизода революционной вспышки в жизни шлиссельбургских политкаторжан. На этот раз на долю участников протеста выпало слишком много мучительнейших переживаний, но колоссальное гражданское мужество, сила воли и способность борьбы с самодержавием помогли протестантам с честью выдержать все пытки и издевательства.

Из-за дикой, вековой стены Шлиссельбургской крепости не слышно было ни лязга цепей, ни воплей протестующих против экзекуций, производимых тюремщиками-жандармами. Там было тихо, точно в могиле, а плеск волн Невы делал эту тишину еще более таинственной.

А. Кукобин.

Обструкция и голодовка в Тульской тюрьме.

Это произошло в день свиданий.

Около тюрьмы стояла толпа родственников и знакомых. Счастливики шли на свидания с заключенными; неимеющие разрешений изыскивали различные способы переброситься хотя бы несколькими словами с знакомыми арестантами. К этому времени нам удалось отвоевать у начальства целый ряд льгот и преимуществ.

Довольно строгий ранее режим был шаг за шагом нами сломлен и к этому времени сменился, по выражению администрации, полной распушенностью.

Наша борьба за большую свободу была успешна, с одной стороны, благодаря групповому притоку новых товарищей с молодым задором, с бьющей наружу революционной энергией, для которых никакие тюремные конституции не писаны, а во-вторых, в зависимости от характера начальника тюрьмы—пьяницы, но вполне добродушного человека, уволенного впоследствии за какие-то денежные неувязки.

Тюрьмой он интересовался так, что даже не знал, сколько в ней одиночек. Больше всего на свете его интересовала водка и даруемое ею добродушное настроение.

Репрессии, борьба—все это было не в его духе. Как на образец его «вмешательства» в тюремную жизнь, укажу на словесную резолюцию на рапорт старшего надзирателя.

Надо сказать, что по праву революционного захвата мы гуляли два часа, но и этого иногда нехватало; тогда мы шли в гости к другим. Надзиратели бесились и по этому поводу старшим был подан рапорт. Но начальник спокойно ответил:

— Иван Ильич! Бог с ними, смотрите только, чтобы через ограду не прыгали.

Затем он повернулся и вышел, а старшему оставалось только пожать плечами.

И вот благодаря этим двум обстоятельствам—приходу новых революционно-настроенных партий и слабости начальника тюрьмы—мы и пользовались особо обширными льготами.

Свободно разгуливая из камеры в камеру, мы кроме того гуляли неопределенное время по двору.

Весь день свиданий мы проводили в камерах аграрников на тюремной лестнице, у окон, выходящих к конторё, и перекидывались шутками с приятелями и знакомыми.

Для разговоров с волей мы пользовались при молчаливом соучастии наружных часовых окнами коридора. Возможность переброситься хотя бы несколькими словами, увидеть друг друга помимо разрешенных свиданий приводила к тюрьме массу народа.

Во всем этом благополучии была, однако, одна отрицательная сторона.

Наша свобода, основанная на революционном праве, на длительной борьбе, на уступках администрации, не была конечно зафиксирована конституцией внутреннего распорядка тюрьмы, и отсюда-то и происходили частые недоразумения с отдельными надзирателями, вздыхавшими о прошлых строгостях, мечтающими о лучших временах. Частенько то, что вчера было допустимо, сегодня запрещалось тем или иным надзирателем, поднимался шум, об'яснения. Все это конечно нервировало; и вот такая-то неопределенная жизнь продолжалась до злополучной обструкции.

Дело началось просто.

У ограды тюрьмы после неувенчавшихся успехом переговоров с заключенными часовой пустил в ход приклад винтовки. Проявление часовым по такому упрощенному способу своих «прав» было в этот день не первым: незадолго до того аналогичное «внушение» было применено к матери тов. Александрова, к старушке, любимице всех политических, к матери товарища, всегда буйно реагировавшего на все тюремные притеснения. Расчет был правилен, события развернулись моментально и слишком шумно, ибо моментально все происшедшее в тюрьме стало достоянием воли.

Тов. Александров вместе с другими товарищами беседовал с матерью из окна коридора секретной, и у него-то на глазах солдат сбил старушку прикладом. В один миг вторая секретная зашумела, на скорую руку оповещая всю тюрьму, и сразу без обсуждения началась обструкция. Все забежали в своих камерах, надзиратели сбились с толку, наскоро нас запирая, и едва защелкивался замок, как в дверь раздавался удар койкой и крики: «Прокурора, губернатора»... Из камер вылетала вся обстановка, окна были выбиты. Тюрьма превратилась в ад, всюду невообразимый грохот, крики, шум и стукотня. Среди родственников,

стоявших у тюрьмы, раздались возгласы протеста, с женщинами начались истерики, всех их окружили конвоем и оттеснили от тюрьмы.

Весть об этом быстро пронеслась по городу, к тюрьме началось осторожное паломничество.

Отправивши родственников, освободившись от свидетелей, администрация ввела в здание тюрьмы конвой, отчего суматоха еще более увеличилась. Но вот раздались крики:

— Будем стрелять!—и в волчках появились дула винтовок. Продолжать обструкцию было нелепо, но и сдавать позицию казалось невозможным.

Часть товарищей—Александров, Дорер, Серебряков, Щукин, все из второй секретной—уже были направлены в карцер.

Изменить способы борьбы пришлось также без обсуждений: сразу было решено голодать—требования же были сформулированы после.

Обструкция кончилась, тюрьма затихла, но в этом затишье таилась твердая решимость борьбы. Стояла мертвая тишина, лишь в коридорах раздавался топот надзирателей и караульной команды. В камерах все было разбито, разбиты были физически и мы. Эта физическая и нервная усталость сказалась и на голодовке, голодать мы начали с расшатанным здоровьем. При переходе от обструкции к голодовке наступило какое-то оцепенение, хотелось только отдыха: мы выбились из сил. О перспективе голодной смерти не думалось, решимость борьбы заглушила все печальные мысли. Через некоторое время на окнах камер устроили собрание и были сформулированы требования. Вот главные из них:

Освобождение тов. из карцера, отдача под суд ударившего мать Александрова часового и т. д. Требования были предъявлены прокурору, и голодовка продолжалась четверо суток. Обструкционная борьба настолько нас выбила из сил, что на третий день некоторые товарищи уже не сразу вставали с койки—при под'еме у них кружилась голова; а это было плохим показателем успеха нашей борьбы. Но настроение было хорошее, в удачном исходе сомнений не было.

Город волновался, рабочие устраивали летучие митинги с резолюциями протеста, протесты выносились и на собраниях интеллигенции; родственники начали паломничество к властям.

Наша настойчивость, поднятый в городе шум и, главным образом, движение среди рабочей массы привели к победе.

Голодовка кончилась, поход на наши вольности не удался, но у начальства мысль о нажиме на тюрьму не исчезла, намеченный план проводился постепенно; впоследствии мы убедились в этом. Пока же победа была за нами.

В. Кухаркин.

Каторга в Николаеве ¹⁾

В феврале 1908 года я совместно с несколькими политическими и уголовными был отправлен во вновь открытую каторгу в Николаев. Нравы, господствовавшие в этой тюрьме, были нам совершенно неизвестны. Ясно было одно: режим там будет каторжный, неизвестно лишь, в какой степени. Всего прибыло нас 25 человек из разных тюрем с юга России, в том числе 6 политических.

Наиболее важным был, конечно, вопрос о поведении тюремных властей, выяснившийся немедленно по прибытии. Нас выстроили в коридоре по два в ряд — по-военному. Ждем. Является власть в лице помощника начальника тюрьмы. Надзиратель командует: «смирно», начальство здоровается: «здорово, ребята». — «Здравия желаем, ваше благородие» — за исключением немногих арестантов рязкнули все в ответ. По-одиночке вызывают в канцелярию начальника. Он спрашивает фамилию, срок наказания и т. п. А затем в коротких, но ясных выражениях знакомит вновь прибывшего с местными тюремными правилами. Арестант должен знать, что отбывает наказание за тяжкое преступление, что он лишен гражданских прав, что начальнику принадлежит неограниченная власть, что арестанту воспрещается иметь какие-либо желания, т.-е. — будь послушен, веди себя смирно, в противном случае — розги. Дабы у арестанта не было на этот счет никаких сомнений, один из углов кабинета начальника украшает пук розог.

Закончив разговор, начальник приказывает арестанту перейти в соседнюю комнату, распорядившись: «принимай». Производится строжайший обыск, смотритель заставляет раздеваться, оставляя арестанта в костюме Адама, лишь в кандалах; затем происходит осмотр, связанный с разного рода издевательствами: заставляет нагибаться, открывать рот, раздвигать руки, словом — глумиться. Наконец арестанта передают (буквально передают, так как на него смотрят, как на вещь,

¹⁾ Перепечатано из журн. «Wugzien Politycsny» № 5, апрель 1912 г., Краков.

да еще малоценную) следующему смотрителю, выдающему арестанту новое платье. Старую тюремную одежду и частные вещи, если таковые у кого-либо имеются, отбираются. Если у кого отросли волосы, стригут под машинку. По окончании всех этих манипуляций уводят в камеру.

Прием этот был яркой картиной здешних тюремных условий. Первоначально нам не удавалось узнать ни о составе заключенных, ни об их количестве, так как камеры были изолированы. Несмотря ни на что, часть арестантов вскоре условилась начать борьбу при помощи голодовки против существующего тюремного режима.

Как-раз в это время тюрьма была наполнена арестантами; в ней находилось 300 человек, в большинстве кавказские татары, не понимающие ни слова по-русски и совершенно неспособные к какой-либо борьбе. Голодовка, начатая группой арестантов, сорвалась, ибо эта форма борьбы потеряла давно уже свое значение: власти не обращали на нее внимания, не прибегали даже к старому средству—искусственному питанию. В самом деле, какое значение может иметь для общественного мнения голодная смерть нескольких арестантов в то время, когда их ежедневно погибают сотни? И если в течение 1½—2 месяцев до голодовки допускались кой-какие льготы, то после нее был введен в полном смысле этого слова каторжный режим. Всякого рода распоряжения, отдаваемые в целях предотвращения проявления недовольства арестантов, вытекали не из боязни последствий этого недовольства, а из того, что власти не могли примириться с мыслью, что арестанты смеют еще думать и обсуждать свое положение.

Вновь назначенный тюремный начальник завел с разрешения тюремного инспектора новые порядки. Были подобраны соответствующие смотрители, которых он учил, что арестанты—звери, что их следует держать в ежовых рукавицах, так как поблажки приведут к тому, что они перережут горло и смотрителям и администрации и что им надлежит помнить, что они служат царю. Речи эти возымели должное действие, и смотрители старались во-всю, а иногда даже и чересчур.

Количество арестантов возросло до 500, в том числе 50—60 человек политических. Их разместили среди уголовных по 2 и по 3, дабы предотвратить всякую возможность сопротивления. Камеры были строго изолированы. Издевательства над арестованными приняла систематический характер. У арестантов старались искоренить всякую мысль, что они были когда-то свободными людьми. Мы жили под постоянной угрозой розог.

Всякий раз, возвращаясь в камеры, будь то после прогулки или из канцелярии, либо с работы, арестанты подвергались тщательному обыску, несмотря на то, что и вне камеры они

находились под постоянным присмотром надзирателя. Независимо от этого камеры постоянно обыскивались: у долгосрочных—каждые 2 дня, у краткосрочных—2 раза или, по меньшей мере, 1 раз в неделю. Сидят себе арестанты в камере, вдруг двери тихо открываются и раздается окрик: «смирно». Все вскакивают. Если кто-либо гулял по камере, тот должен был остановиться и стоять на том месте, где находился в момент команды. «Выходи на обыск». Все выходят в коридор и выстраиваются в две шеренги; стоять надлежит смирно, смотреть прямо; кто пошевелится—в карцер.

Тем временем надзиратель перетряхивает всю камеру, хотя прятать негде, а в виду полнейшей отрезанности от мира—и нечего. Всю меблировку составляют кровати, на день закрываемые, чтобы на них не валялись, и скамейки, на которых лежать днем также не разрешается; подушки, набитые соломой, суконные одеяла и полотенца дополняют имущество арестанта. После осмотра всех этих вещей, тщательного обследования камеры и решеток производится личный обыск. Раздевают до-гола, как во время приемки, несмотря на то, что зимою в коридорах довольно холодно. Почти каждый из надзирателей считает своим долгом плоско остричь над тем или иным арестантом.

Свидания с родными разрешаются только раз в месяц, сквозь двойные решетки, между которыми прогуливается надзиратель. Продолжаются они 5 минут. Посылки для арестантов передаются по воскресеньям (принимают лишь хлеб, колбасу, сахар и чай). Если же кто-либо из приезжих принес что-нибудь, например, в понедельник, посылка лежит в канцелярии до следующего воскресенья, так как установленные в этом отношении правила соблюдаются строго.

Никакие сведения из внешнего мира проникнуть не могут; надзиратели живут при тюрьме и на выход должны брать особые пропуска у начальника. Тюрьма расположена за городом, почти на берегу Ингула. В течение моего годичного пребывания в Николаеве я абсолютно ничего не знал, что делается на божьем свете. За найденные газеты приговорили бы к розгам, но приносить газет было некому. Одним словом, тюрьма эта была истинным гробом с живыми трупами.

Мало того, что мы не видели воли и не знали, что там происходит, нам не разрешалось даже взглянуть на клочек неба, видневшегося сквозь решетку. Не будучи в состоянии прикрыть его стеною, власти охраняли его ружьями: под угрозой стрельбы к окну не разрешалось подходить ближе, чем на 2 шага. Наружная стража обращала строгое внимание на окна. Стрельба по смотрящим происходит чуть не ежедневно. За время моего пребывания один арестант был убит, другой ранен. Промахнувшийся часовой получал выговор за то, что не застрелил

«собаки». Случалось иногда, что арестант очутится возле окна без намерения взглянуть; стража уже кричит или сразу стреляет, если же не стреляет, то докладывает начальству, и арестанта сажают в карцер.

Карцер почти постоянно был переполнен, несмотря на забитость арестантов, не смевших даже и пикнуть. Сажали по пустякам или совершенно без всякого повода, лишь бы только карцер не пустовал. Малейшая придирка являлась достаточным поводом к наказанию. Порка была обыденным явлением; в большинстве случаев она применялась за попытку к бегству или даже лишь за подозрение в таковой. Часто же и по пустякам. В этом отношении не делалось никакого различия между политическими и уголовными, политические даже чаще подвергались порке. Вообще разницы между политическими и уголовными не делалось: перед законом все равны. Если же надзиратель узнавал, что арестант политический, то еще больше над ним издевался.—«Это вам не 1905 год,—говорил начальник,—довольно властвовали, теперь мы вам покажем, как делать революцию». Евреям, понятно, доставалось больше всех. Кроме обыкновенной ругани по их адресу отпускалась еще особая, относящаяся специально к евреям.

Как бы шутки ради многих арестантов надзиратели называли не по фамилиям, а по даваемым им бранным кличкам.

Ложимся спать в 9 часов, и волей-неволей—лежи и не шелохнись. Случается, что какой-либо усердный и не особенно умный надзиратель, заметив, что кто-то не может уснуть, кричит: «приказано, так слушай». Разве можно допустить, что существует другая причина бессоницы, кроме желания сопротивляться начальству? И угрожает карцером, если не уснешь. Приходится лежать тихо, чтобы надзиратель не смог даже заподозрить, что ты не спишь. На рассвете всех будит звонок; нужно немедленно встать, закрыть кровать (она состоит из рамы, обтянутой полотном) и приготовиться к утренней проверке. Когда раздается в коридоре команда надзирателя: «становись на проверку», арестанты должны выстроиться в камере в две шеренги и ждать своей очереди. Появляется старший надзиратель с целой сворой помощников и опять раздается команда: «смирно». Считают, осматривают камеру, не сделано ли чего-либо недозволенного, а мы тем временем стоим, вытянувшись по-военному, пуговицы застегнуты, ноги сдвинуты, в противном случае—в карцер за непочтение к начальству. Одновременно несколько раскованных краткосрочных арестантов под наблюдением двух надзирателей раздают хлеб по 2 фунта на человека. Кипяток приносят из кухни, а посуду из коридора,—держать ее в камере не разрешается. В 12 часов звонок на обед; опять несколько человек разносят пищу в котлах и разливают ее в миски (ка-

ждая на троих), заранее розданные в коридоре надзирателями. Затем по-очереди выпускают за мисками. В 4 часа дают кипяток, иногда раньше или позже, в зависимости от очереди. Случается, что камера получает кипяток уже через час после обеда, если окажется на очереди первой. И тогда она остается без еды до следующего утра, если только кто-либо не спрячет кусочка хлеба, ибо вне часов, предназначенных для еды, в камере не должно быть с'естных припасов. Если нет работы, сидишь или гуляешь по камере и болтаешь. Читать почти нечего. Маленькая библиотека, находившаяся под наблюдением церковного псаломщика, состояла, главным образом, из книг нравственно-богословского содержания. Выдавались они редко. В камерах находится до 30 человек, вследствие чего, если даже разговор ведется шопотом, подымается невероятный шум. Я говорю здесь о времяпрепровождении, когда нет работы. Для раскованных, или так-называемых исправляющихся таковая в большинстве случаев находится. Закованных кроме 15-минутной прогулки никуда не пускают. Работать приходится, главным образом, по хозяйству: колоть дрова, очищать двор, а нередко и уборные. В течение первых месяцев мы должны были срубить и выкорчевать деревья, окружавшие тюремное здание. Мы чистили выгребные ямы, таскали кирпичи, камни, копали землю и, наконец, когда уже нечего было делать, надзиратель все же выискивал работу: перетащить старый строительный материал, лежавший возле бани, на новое место, а затем обратно на старое. Осенью 1908 года была введена для всех арестантов, за исключением работающих в мастерских, следующая обязательная работа (она была введена и в других тюрьмах): разворачивать и щипать паклю из старых, годами лежавших в порту канатов. Можно вообразить себе, что творилось в камере, в которой занималось такой работой до 30 человек. Из-за пыли ничего не видно, каждый же должен был сработать 3 фунта в день. До какой степени эта работа была вредной для здоровья, свидетельствует необыкновенная смертность, появившаяся с момента ее введения: ежедневно кто-нибудь умирал, а часто и по два. Гробов не успевали делать; когда не было умерших, гробы делались про запас. Эта так-называемая «каболка» многих привела на тот свет.

Несколько слов о медицине. Несмотря на столь значительный процент больных, лазарет вмещал лишь 25 кроватей и был до того плохо оборудован и обслуживаем, что редко кто из него выходил. Возникло даже подозрение, правда, непроверенное, что там умышленно ускоряли смерть. Арестанты лишь в крайнем случае обращались за помощью к врачу, лишь бы избежать лазарета, и это позднее обращение приводило к убийственным последствиям. Амбулаторных больных фельдшер зачастую лечил карцером.

Все это, т.-е. карцер, розги, особый метод лечения, запрещение смотреть в окна, ругань,—все это, как уверяла администрация, делалось, якобы, по закону. Тюремный инспектор, человек с высшим образованием, во время посещения тюрьмы произносил арестантам речи, советовал слушаться начальника; говорил он сладко, выражал сочувствие, утешал, что скоро кончится срок или будет уменьшено наказание изданным волей монарха манифестом, и кончал всегда тем, что для строптивых существуют розги.

Я не в состоянии описать чувства, вызываемого криками истязуемого. Отдаешь себе отчет, что и ты не огражден от каприза начальника. Нет страшнее чувства для арестанта, что он бессилен и находится в полной зависимости от чьего-то произвола.

Под страхом розог следует величать начальника «ваше высокоблагородие», его помощника—«ваше благородие», старшего надзирателя—«господин старший», а стражника—«господин надзиратель».

Пища сносная, но дают мало. Камеры чистые. Загрязнение камеры наказывалось не потому, что это вредно для здоровья, а за неисполнение «закона». А то, что в камерах щиплют паклю и дышат пылью, это—по закону, так как каторжник обязан беспрекословно исполнять приказания.

Баня бывала каждые две недели. В течение получаса нужно раздеться, помыться и одеться. Скованный арестант теряет много времени на то, чтобы снять штаны. Надзиратель с револьвером в руке выгоняет его из бани, хотя бы арестант и не успел даже окатиться водой.

Белье меняют каждую неделю. Его стирают вместе и выдают на всю камеру. Часто приходится надевать белье, которое до этого носил больной; о собственном белье нет и речи.

Первоначально не разрешалось даже иметь носовых платков. Лишь когда от частого трения глаз грязными руками распространились глазные болезни, нам разрешили иметь по одному платку, но белому, а не цветному.

Краткосрочные живут еще надеждой, что им недолго придется страдать в этом гробу, но для долгосрочных жизнь в каторге прямо невыносима. Люди расшатывают нервы до последней степени и всю накопившуюся горечь изливают на окружающих, спорят и ссорятся постоянно. Всякий поступок товарища, которого видишь ежедневно и который поэтому более чем надоед, раздражает и приводит к недоразумениям. Стычки, происходящие на почве ненормального положения арестантов, используются властью и наказываются по «закону». В тюрьме должна царить гробовая тишина.

Шейнис.

Мои воспоминания об освободительном движении 1905 года.

Я—крестьянин-батрак. Скитаясь по Кубани в поисках работы, я столкнулся с известным в то время в Армавире сельским учителем и поэтом Капельгородским, явившимся первым моим учителем и наставником в области революции и социализма. Весь 1903 год я находился всецело под его влиянием, и надо отдать ему должное: его энергия и литература, которой он меня снабжал, так зарядили меня революционно-бунтарским духом, что уже в 1904 г., во время русско-японской войны, я попытался выступить агитатором и пропагандистом среди казаков I Урюпинского полка, квартировавшего в Армавире. Результаты, правда, были не совсем удачны; до тех пор, пока я излагал урюпинцам славное прошлое казачества до Стеньки Разина и Пугачева включительно, казаки слушали как-будто с большим вниманием и интересом. Но стоило коснуться роли казаков в качестве приспешников царизма, как раздавались угрожающие голоса: «шпион, подкупленный жидами, бей его». Кто-то сзади ударил меня чем-то тяжелым в голову, а остальные с боем выволокли во двор Центральной гостиницы, и лишь при помощи группы сочувствующих и толпы я очутился каким-то образом на вокзале, а затем сел на поезд и скрылся.

Вторую половину 1904 года я батрачил в имении Брусенского, в 30 верстах от Армавира. Капельгородский в это время выехал учительствовать в станицу Успенскую Армавирского же уезда, предварительно связав меня с кружком Р.С.-Д.Р.П. дяди Нила при станице Бесскорбной. Здесь-то, у дяди Нила, я впервые обстоятельно познакомился с программой с.-д. и другой марксистской литературой.

Дело в том, что Капельгородский, будучи сам народником, говорил о марксизме между делом и относился к нему с предубеждением. На истинную дорогу вывел меня лишь дядя Нил.

В начале 1905 года я повез своего хозяина в Армавир, но площадь, которую нам нужно было проехать, была занята народом. С импровизированных трибун говорили ораторы. Какая-то

невидимая сила сбросила меня с козел и, отдавая помещику возжи, я сказал:—Вот вам хомут и дуга, я вам больше не слуга. А на его вопрос:—Куда ты?—ответил, удаляясь:—Не ты, а вы. Иду революцию делать против помещиков и капиталистов. До свидания, встретимся на баррикадах.

Помещик был ни жив, ни мертв; бледен и костюм повис на нем, как на покойнике.

Через полчаса меня переносили с одной трибуны на другую. Я не говорил, а горел.

— Слушайте! Хоромы и дворцы построены руками рабочих, железные дороги, пароходы и все ценности земли воздвигнуты нами, и в награду за наш каторжный труд нас загнали в подвалы и жалкие вонючие лачуги. Тюрьмы переполнены рабочими. На полях Манчжурии белеют кости рабочих и крестьян... Рабоче-крестьянский люд! К организации, к оружию, за социализм, за республику, вперед...

Вечером того же дня полиция упрятала меня в тюрьму. В тюрьме нас было много: Фролов, братья Емельяновы, дядя Нил и другие.

Сидеть было весело. Воздух был насыщен революцией. Я читал день и ночь, заряжался для дальнейшей борьбы.—Нет, к чорту их, сидеть больше не вмоготу. На воле все кипит, волнуется, бурлит. Работы уйма. Надо ковать железо, пока горячо. Агитация, пропаганда, организация и еще организация!—буживал я. Собираем сходку, обсуждаем наше положение. Решили немедленно вызвать следователя и пред'явить ультиматум: или немедленно формулировать обвинение, или об'являем голодовку.

Голодовка. 18 человек голодают неделю. Нет обвинения, нет и свободы. На носу 17-ое октября.

Свобода.

Манифест, митинги, погромы. Лавируя и маневрируя от гонящихся по пятам полиции, стражников и верноподданных войск, мы целой группой об'езжаем станицы и села, устраивая митинги. Жутко за революцию, но радостно. Петроград, Москва... Там сила, там успех или поражение. Здесь, на окраинах, мы стоим на своем посту. Начались погромы. В Армавире громят Лунева, Вильде, Кудрявцева и других, громят под прикрытием войск. Погромщики-черносотенцы, выбрасывая со 2-го и 3-го этажей музыкальные инструменты и всякую рухлядь, об'являют толпе:—Берите, это все ваше. Жида ограбили русский народ. Берите!

Наша боевая дружина бессильна бороться с организованным погромом. Меня командируют в Ростов за поддержкой. По пути в Гулькевичах меня схватывают жандармы и отправляют на станцию Кавказскую. Конвой, два добродушных сол-

дантика, согласились предварительно пообедать на станции и затем доставить по начальству.

Во время обеда через официанта получаю записку: «через 40 мин. отправляется поезд на Ставрополь, в уборной получишь обмундирование, паспорт и проездной билет. Смотри в оба. Архангелов щедрее угощай водкой. Твой Жорж».

Подвыпившие солдаты охотно отпустили меня в уборную. Через 2—3 минуты в костюме реалиста выхожу никем не замеченный. Еще несколько минут—и я прощаюсь с Жоржем...

Ставропольская организация Р.С.-Д.Р.П. командирует меня по организации и пропаганде среди крестьян. В то время настроение ставропольского крестьянства было больше чем революционно: почти везде ждали только призыва к восстанию. Уезды Большая Джалга, Прасковийский, Александровский и другие приходилось удерживать от преждевременного выступления. Бунтарский дух ставропольского крестьянства меньше всего базировался на малоземелье. В этом отношении крестьянство было обеспечено. Основной причиной недовольства были полицейский произвол, поборы и притеснения урядников, стражников и прочих опекунов самодержавия.

Несмотря на систематически организованное преследование полиции и стражников, никак не удавалось изолировать меня от масс.

В течение всего первого полугодия 1906 года, под усиленной охраной крестьян, перебрасываясь из села в село, из уезда в уезд, я установил связи без малого по всей губернии. В больших селах и уездах на митингах присутствовали стражники, но перед лицом готовых к выступлению масс от ареста уклонялись. Так продолжалось до средних чисел июня. Но вот 15-го вечером в село Винодельное прибыла крестьянская делегация из Прасковии с просьбой немедленно выехать с ними: народ там дюже ждет слова. Выехал и—в 2 часа ночи был арестован первым Осетинским дивизионом, т. к. в сопровождавшем меня эскорте оказались прасковийский пристав и урядник. Делегация была провокаторской.

До Благодаринской тюрьмы, верст примерно 70, проехали проселками. Обращение со мной начальства и стражников было более чем корректное.

В 8 часов утра 16-го июня я сидел в одиночной камере Благодаринской тюрьмы и подводил итоги проделанной и неоконченной работы. На следующее утро меня посетил благодаринский земский начальник, привез табаку, книг, белья и еды. Любезно отказываюсь, но земский начинает уверять, что он старый социал-демократ и приехал к товарищу для связи. Хотя я не поверил в его с.-д. принадлежность, но из приличия посылку оставил у себя. Впоследствии оказалось, что мой земский

действительно если и не социал-, то демократом-то был во всяком случае. В течение июля месяца он непрерывно и добросовестно информировал меня о ходе революции, о том, что местные уездные революционные крестьянские комитеты, организованные мною же, готовятся к нападению на тюрьму и что 6 августа ими категорически решено революционным путем извлечь меня из-под затвора. Последняя информация навела на мысль, что сочиняется какая-то провокация и что мой земский с.-д.—ее посредник.

Через несколько дней в волчок дверей камеры вдруг падает записка: «6 августа будь готов, в этот день под охраной 1-го Осетинского дивизиона тебя вызовут на этап для препровождения в Ставрополь-губернский. Если мы не успеем освободить тебя из тюрьмы, то освободим из-под конвоя. 20000 инсургентов ждут моей команды. Твой всегда Адам Л и с».

Адама Л и с а я знал; это был старый революционер поляк, занимавшийся в Благодарном адвокатурой, но что касается инсургентов, то и под пытками я бы не смог в то время ответить, что это могло значить?! Как я ни ломал себе голову, чтобы расшифровать таинственных инсургентов, ничего не вышло, кроме подтверждения первой догадки о готовящейся большой провокации. Наконец мне повезло: 1-го августа меня посетил сам тов. Л и с, и все стало ясно: инсургентами оказались обыкновенные крестьяне и рабочие, а земский начальник—своим человеком.

6 августа в 9 ч. утра за оградой слышались шумные выкрики, а затем гулкий топот ног по коридору. Камера открылась и ко мне не вошли, а были впихнуты благодаринский исправник М е й л а х, начальник тюрьмы, два жандарма и рабочий Н а й д е н о в по прозвищу—царь. Весь коридор наполнился «инсургентами». Исправник без формы и фуражки, дрожащим голосом поздоровался, назвал себя и сказал: «Я вынужден толпой, их очень много, под угрозой смерти освободить вас из тюрьмы, но вы сами понимаете, что по закону и своему положению я этого сделать не могу. Спасите меня и себя, выйдите на улицу и скажите им, что вы за мной не числитесь... Даю вам слово, что в Ставрополе вас освободят законным порядком. Никаких преступлений за вами нет, агитация же и пропаганда манифестом 17-го октября допускаются».

«Спасибо за раз'яснение, господин исправник, но свои права я лучше вас знаю»,—сказал я и двинулся к выходу.

Большой тюремный двор, стены ограды, близлежащие крыши домов и вся улица были заполнены народом. Меня подняли на руки. На площади была устроена трибуна. Первым взял слово Найденов, он же царь.

«Товарищи и граждане,—начал он,—мы революционным путем освободили из-под стражи всем нам известного тов. Пучкова. За такое наше действие жандармы по головке нас не погладят. Мы сделали шаг, на который карательные отряды ответят нам нагайками и пушечными снарядами. Просить снисхождения и пощады бесцельно. Сейчас, в 50 верстах, в Петровске, в Донской Балке и Кугульте идут бои. Генерал Литвинов из Пятигорска, из Ставрополя казацкими и осетинскими бандами громит мирные и крестьянские села. В результате сотни изнасилованных и тысячи искалеченных. Ответим же шайке генеральских разбойников на насилие насилием. Наступил момент не просить, а требовать. Время не терпит. Сейчас же—или будет поздно, надо обезоружить местную власть и вооружить народ для защиты наших жен и детей, нашей свободы. Тысяча голосов крикнула в ответ: «К оружию!»

Я сделал попытку разрешить положение более мирным путем. Предложил выдать генералу меня и еще пару человек, как зачинщиков. Указал на превосходство сил противника, на казачество, слепо исполняющее приказания начальства, на бесцельность выступления с соломинкой в руках против организованного и вооруженного врага, на печальные результаты и большие жертвы. В ответ раздалось массовое негодующее: «Долой!..»

Убедившись, что передо мной стоят десятки тысяч обреченных крестьян и рабочих, уже стихийно выступивших и готовых к борьбе, и что никакая сила не может в данное время предупредить столкновения, я сказал:

«Товарищи, с полным чувством ответственности за последствия я присоединяюсь к вам и ваша судьба пусть будет моей участью. Коль скоро вы решили бесповоротно драться с генералом Л и т в и н о в ы м, я предлагаю немедленно приступить к конфискации оружия, у кого бы и где бы оно ни находилось.

«Немедленно обезоружить полицию, стражников, жандармов и всю местную власть и запереть их всех в тюрьму, попытаться склонить местный гарнизон на нашу сторону, в противном случае обезоружить силы.

«Немедленно поставить под ружье всех повстанцев, знающих военный строй и умеющих владеть оружием. Организовать по всем правилам искусства роты, батальоны и т. д.»

Не более как через два-три часа на площадь были снесены огромные пирамиды оружия и стройно дефилировали повстанческие полки и батальоны, отправлявшиеся к заставам. Город был в наших руках. Местная власть и полиция сидели в тюрьме. Гарнизон обезоружен. Избран военный совет. Провозглашена республика и я об'явлен ее президентом.

От 6-го по 15 августа включительно генерал Л и т в и н о в воздерживался от наступления на Благодарное. Тогда повстанческий военный совет решил сам наступать. В ночь на 16-е августа повстанческие силы были двинуты на город Ново-Георгиевск Терской области, где находились в то время огромные запасы оружия.

Ново-Георгиевск представлял собою военный арсенал, снабжавший весь Северный Кавказ. Карательная экспедиция Л и т в и н о в а была расположена в селе Петровском Ставропольской губернии и городе Пятигорске.

17 августа в 6 часов утра повстанцы были окружены и отрезаны от Благодарного и Ново-Георгиевска. Началась ликвидация восстания. Адам Л и с, Н а й д е н о в-царь и другие были подвергнуты пыткам. 3000 крестьян арестованы и заключены в тюрьму. Начались издевательства над крестьянами и массовые насилия женщин.

Следует отметить достойное памяти благодаринцев обстоятельство. Я в качестве экс-президента во время жесточайшей экзекуции скрывался в городе Благодарном две недели. Все население поголовно знало, где я обитаю, и все же я никем не был выдан, хотя за обнаружение моей головы была назначена весьма соблазнительная сумма. Еще одно: восстание благодаринцев совпало с известным воззванием депутата Гос. Думы Оникко к кронштадтским матросам, за что Оникко предавался военно-полевому суду. Военно-повстанческий комитет реагировал на это событие телеграммой председателю совета министров С т о л ы п и н у следующего содержания: «Мы, крестьяне и рабочие Благодаринской республики, узнав, что нашего депутата Оникко предают военному суду, предупреждаем вас, что если хоть одна капля его крови будет пролита по вашей милости, мы, нижеподписавшиеся, обещаем выпустить за это преступление всю разбойничью дворянско-буржуазную кровь». Следуют подписи: президент, военный совет, крестьяне и рабочие республики.

Телеграмма была послана под страхом расстрела начальника телеграфной к-ры и отказавшихся ее отправить телеграфистов. От С т о л ы п и н а последовал ответ: «Ставропольскому губернатору Я н у ш е в и ч у. Немедленно ликвидировать благодаринское безобразие. Президента доставить мне живым или мертвым. С т о л ы п и н».

5-го сентября 1906 года ставропольская организация выдала мне паспорт на имя сельского учителя Петра Лаврентьевича Х и л ь к о в а, и я вскоре определился учителем в поселке Воронежском Кубанской области и приступил снова к подпольной политической работе. Учительские функции меня настолько увлекли, что я серьезно мечтал остаться в этом зва-

нии, хотя и по подложным документам, впредь до пришествия пролетарской революции... Однако моя учительская карьера была разрушена ставропольским комитетом, который в последних числах декабря 1906 года заявил мне, что, в виду окончания следствия по делу благодаринцев и в силу сохранения престижа партии, мне надлежит добровольно явиться к властям предержащим и принять активное участие в качестве обвиняемого в процессе благодаринцев.

В первых числах января 1907 г. я уже был в 30-й камере Ставропольской тюрьмы, где встретился со старыми знакомцами-повстанцами. Мое появление среди них было настоящим праздником. Адам Л и с, Н а й д е н о в-царь и другие, искаленные карательным отрядом, тоже были с нами.

С 16 мая 1907 года выездная сессия Новочеркасской судебной палаты разбирала дело Благодаринской республики. Всю тяжесть вины я взял на себя. Бунтари получили по одному году тюремного заключения, а их «президент» — 3 года крепости, а затем в качестве премии, спустя два года, по 102 ст. 2-й части получил 8 лет каторжных работ.

О благодаринцах я сохранил самые лучшие воспоминания. За все мое долгое пребывание в крепости и на каторге они не порывали со мной связи, энергично поддерживая меня морально и материально.

В 1918 г., проезжая через Ставрополь Кавказский, я узнал, что благодаринские повстанцы еще до сих пор хранят в своей памяти мое стихотворение, посвященное им в ночь перед судом:

Ждэ Благодаринців Суд Московскій,
Суд нэ простий, а Суд панскій,
Дэ про милость нэма річі
Закуют Вас Всіх в кайданы
Приведуть прэд панскі очі,
За чин повстанця пан там станэ
Обвиняють Вас зо всій мочи.
И простимэ вин крові,
Крові тих що знали волю
Бо погана жизнь в нэволі,
Діти воли
Стійтэ гордо на Суді
Що Вас судимэ.
Нэ журітсѧ: годі, годі
Наш народ Вас нэ покінэ.

Пучков.

Мои воспоминания о 1905 годе.

После забастовки в июле 1903 года, расстрела у депо Киев 1-й и процесса 28 ж.-д. рабочих в киевской судебной палате, окончившегося полным оправданием, началось частичное улучшение материального положения рабочих и гигиенических условий их труда. Керосиновые коптилки исчезли в мастерских, появилось электрическое освещение, расценка на сдельные работы повысилась и т. д.

В результате—рабочие немного успокоились и поднять их на забастовку стало труднее. В 1905 г. на одном из собраний у Э. Ф. Плетата поставлен был вопрос о забастовке. Некоторые товарищи (Григоренко и др.) высказывались против, а переодетый (как оказалось впоследствии) жандарм Новицкий пел гимны начальству. Я резко выступил против правления нашей ж. д. и заявил под-конец, что всем нашим начальством, за исключением Шах-Назарова, следует зарядить пушку и выстрелить в Днепр. По окончании собрания в 2 часа ночи в мою квартиру постучались. Прежде чем открыть, я спрятал нелегальщину в детскую постельку, а револьвер сунул в грудь с золой. Как только крючок был снят, в комнату вошли во главе с приставом несколько городских и гороховое пальто.

После поверхностного обыска они предложили мне одеться и следовать за ними, насильно оторвав от плачущих детей и жены. На ее вопрос, куда меня отправят, сказали:—на допрос в управление, а вместо этого повезли прямехонько в Лукьяновскую тюрьму. В среднем корпусе на мужской половине я застал чуть не всю нашу администрацию с нач. станции во главе.

Все мы сидели без пред'явления к нам каких-либо обвинений, нервничали и поговаривали о голодовке. По ходатайству нач. дороги Немешаева прежде всех выпустили Александровского, секретаря министра П. С., ревизора движения и Сергеева, а остальных начали вскоре брать на допросы. Меня просили указать сообщников, грозили заслать в Сибирь и сгноить в тюрьме.

— Мы все знаем,—говорила жандармерия,—если сознаетесь чистосердечно, укажете товарищей, распространяющих нелегальщину в мастерских, то вас выпустим и вы будете работать на старом месте.

— Если вы все знаете, зачем же спрашивать? Оторвали от семьи человека и держите в тюрьме без всякого основания. Ничего вам сказать не могу и прошу меня освободить.

— Нет, вы, коли так, еще насидитесь..., а кто говорил, что надо все начальство зарядить в пушку и выстрелить в Днепр? Мы вас и на прогулку не будем пускать, если во всем не признаетесь. Но, зная и боясь голодовки, пускали нас не только на прогулку, но даже разрешали ежедневно большие передачи, так что мы делились с другими и в одной из больших камер устроили общую столовую-читальню. Ежедневно получали свежие газеты. Книг хоть отбавляй, на прогулках шалили, как школьники, устраивали из снега горы, бросались снежками и один раз, только благодаря очкам, не выбили глаз секретарю министра Александровскому. Навалили посредине двора снежную гору выше тюремной стены, вылезли наверх и смотрим себе на город. В следующую прогулку наша работа снова начинается, т. к. смотрители регулярно разбрасывают. По возвращении с прогулок кто разваливается в постели, кто читает, а некоторые поют или играют в воздушную почту.

Тов. Касилов взбирался на окно и развлекал дамское общество соседнего корпуса романсами.

Александр Павлович Русски артистически исполнял нам русские песни и зло высмеивал во время вечернего обхода пом. начал. Ботвинцкого, указывая на одиночку и заявляя:

— Скоро, скоро мы вас посадим в эту камеру и замуруем живьем.

Владимир Михайлович Тулов был нашим хорошим регентом и декламатором, и под его руководством наш хор встречал Ботвинцкого по вечерам марсельезой. Но больше всего доставляли удовольствие рассказы профессора Н. об историческом прошлом Малороссии. Через 4 мес. и 9 дней, в продолжение которых меня безрезультатно несколько раз допрашивали, я был выпущен под надзор и без права поступления на фабрики, заводы и в ж.-д. мастерские.

Н. Зевакин.

Полтора года в тюрьме.

Несмотря на предписания свыше разместить некоторых арестованных по секретным одиночкам, первые дни мне вместе с другими товарищами, также одиночками, пришлось провести в общей пересыльной камере.

Камера с довольно увесистым замком и с тяжелой накладкой, принявшая нас под свои своды, была уже полна. Несмотря на довольно позднее время—около пяти часов утра—невольные обитатели ее и не думали о сне: они вели оживленную беседу.

Почти все великолепно знали друг друга, еще только вчера сталкивались на воле. Беседа шла о текущей партийной работе, и получалось впечатление, что мы не в тюрьме, но на одном из партийных собраний, носящем, правда, особую окраску—по разнокалиберности партийного состава. Последнее обстоятельство, однако, не портило впечатления, ибо тема беседы была межпартийная.

Нас, запоздавших на это собрание, встретили дружными приветствиями и, едва защелкнул замок, приступили к вопросам, где, при каких обстоятельствах и пр.

Мы поделились новостями. Женская часть тюрьмы также принимала новых пришлиц, и с ними-то нам и пришлось столкнуться в тюремной конторе.

Итак—тюрьма. Впереди предстоят допрос, следствие, суд... дальнейшее—загадка.

Понемногу публика начала утихать и укладываться. Уставшим в споре хотелось отдохнуть: ведь впереди было еще много дней для всяких разговоров.

В половине седьмого раздался призывный гудок оружейного завода, где я был резервным машинистом; может, показаться странным, но я с каким-то особым удовольствием, с полнейшим спокойствием сладко потянулся на койке и, завернувшись в пальто, снова заснул. К этому времени благодаря частым провалам нам, молодняку, работы было по-горло. Здоровье пошатнулось, чувствовалась усталость. Может быть, этим-то и объясняется чувство физического удовлетворения, испытанного мною в первое утро в тюрьме.

Тюремные старожилы, идя на следующий день на прогулку, проходили перед нашими окнами, и, конечно, снова завязалась оживленная беседа. Большинству из нас старички были известны до тех пор только по-наслышке, теперь же настал черед личного знакомства.

Нас с товарищеской предусмотрительностью снабдили всем необходимым, принесли книг и познакомили в беглых чертах, конечно, с режимом тюрьмы. С этого и началась тюремная жизнь, длившаяся для меня полтора года.

Оставшись в камере, большинство из нас задалось целью упорядочить новую жизнь; начали вырабатывать камерную конституцию; некоторые товарищи взялись за книги. Но дело не ладилось. Все мы были новичками, а позади осталось слишком много интересующего, близкого; у каждого возникало много различных соображений, да и новая обстановка приковывала внимание.

Едва только кто-либо из товарищей начинал в полголоса переговариваться, как образовывалась целая группа беседующих, а под-конец на страх врагам гремела революционная песня.

Администрация благодаря неожиданному наплыву «гостей» сбилась с толку. Она чувствовала, что с нами без скандала не справиться, а для последнего было слишком неподходящее время: шли выборы во вторую Государственную Думу. При таких условиях скандал в тюрьме, применение к только-что арестованным слишком крутых мер, конечно, были бы неуместны, давая слишком большой агитационный козырь против царизма.

Мы же не хотели признавать никаких законов, с пришедшим к нам помощником начальника тюрьмы договариваться не желали, и его лекция хорошего тюремного тона пропала даром.

Мы были в группе, были сплочены, ясно учитывая общее положение. Исключительное удовольствие доставляло нам пение, приводящее к протесту со стороны надзирателя,—а здесь и начиналась забава. Особенно отличался товарищ Андрей, с.-д. меньшевик; все время слышались его выкрики.

— Нельзя! Почему нельзя? Я хочу—и пою! Зачем посадили?

Администрация не знала, что делать. Нас попробовали припугнуть карцером, но мы рассмеялись и попросили поскорее показать нам это таинственное место. Применить излюбленный метод—рассадить нас по одиночкам—не было возможности: все было занято, а только этим и можно было бы ослабить наше сопротивление.

Для прогулки нашей камеры пришлось мобилизовать всех надзирателей. Многие товарищи пытались проникнуть в разные

этажи тюрьмы. Пришлось заставить проходы на задний двор. Это обстоятельство привело нас в бешенство: старые политики имели право гулять на заднем дворе, а нам, в силу того, что мы еще подследственные, предоставили передний дворик. С первого же дня была сделана попытка прорыва, и по этому поводу было много разговоров с администрацией. С прогулки мы вернулись с песнями, что опять-таки нарушало тюремный режим. Старые заключенные приветствовали нашу энергию и в знак солидарности изменили и свой образ жизни: ведь они чувствовали, что их полку прибыло. Ряды стали плотнее, новые силы подбодряли и старых бойцов.

Через несколько дней, благодаря тому, что наша жизнь в общей камере проходила в безалаберном времяпровождении, мы стали требовать перевода в одиночки: заняться в общей камере чем-либо серьезным не было никакой возможности. Я помню бедного товарища Андрея, чуть ли не по часу читавшего все одну и ту же страницу Плеханова и все же из-за шума ничего не усвоившего.

Наконец, на наши приставания к старшему надзирателю мы получили совет не торопиться, ибо и помимо нашего желания одиночки ждут нас в силу имеющихся в конторе тюрьмы распоряжений. Но это обстоятельство еще больше усилило наши домогания, и в переговорах мы начали ссылаться на это предписание.

Одновременно выяснилась полная неосведомленность начальника тюрьмы о подведомственном ему владении. Мы записывались для личных переговоров с ним по вечерам и, несмотря на уговоры старшего надзирателя, пользовались своим правом иметь свидание с начальником.

Некоторым из нас по первому же заявлению было милостиво разрешено перебраться в одиночки.

Конечно, заявление надзирателей об отсутствии одиночек было истиной, и получилось курьезное положение. Мы требовали перевода, ссылаясь на распоряжение начальника, а старшему приходилось только молча пожимать плечами. Я не отказался от случая побеседовать с начальником, жалуюсь на отказ надзирателей выполнить его распоряжение. Когда надзиратель заявил ему, что свободных одиночек нет, начальник, тут только уяснивший положение, довольно мягко попросил надзирателя как-нибудь уладить дело. На первый взгляд начальник тюрьмы производил впечатление далеко не сурового тюремщика, мягкого и податливого при разговорах.

Вопрос с одиночками для некоторых из нас устранялся сам собой. В тюрьме происходила постоянная перетасовка. Мой сопроцессник, товарищ Сознин, был переведен в первую секретную; по моему желанию сюда перевели и меня. Но эта камера

меня ни в какой мере не устраивала: она была в нижнем этаже, была холодна, до окна было далеко, да и пейзаж из него был не заманчив; а посему я решил перейти.

Товарищ Сознин уверял меня, что теперь это дело пропащее и что отсюда мне не выбраться; но я решил ни за что здесь не оставаться.

На утро мною было сделано старшему соответствующее заявление, но аргумент у меня был только один: в камере холодно, а теплых вещей у меня нет. Довод, конечно, не особенно сильный; но несмотря на это меня без особых возражений снова водворили в пересыльную. Очевидно, здесь имело значение то обстоятельство, что мы с товарищем были заключены по одному делу и хоть для видимости должны были быть изолированы друг от друга.

В общей камере пробыть мне пришлось недолго: я был сперва переведен в первую камеру третьей секретной, во втором этаже, а в дальнейшем перебрался в третью камеру, немного лучше первой, где и провел все время заключения.

Во всех одиночках сидело в то время по двое, а впоследствии в некоторых даже и по три человека. Тюрьма переживала острый жилищный кризис. Реакция постепенно поднимала голову и вела наступление, сводя счеты за вырванные свободы. Но революция шагнула в ширь, и в казематах нехватало места, начальство обошло предупреждение шлиссельбуржца Н. А. Морозова: «Шлиссельбург заняли мы, так не бойтесь же тюрьмы»,—и применило систему безудержного уплотнения.

Моим первым сокамерником был товарищ Юрин, заключенный по делу крестьянского союза. Мы с первых же дней сошлись с ним, и жизнь потекла довольно гладко.

В тюрьме была приличная библиотека, да и воля не оставляла нас, снабжая всем необходимым. К этому времени мы уже имели свидания, так как через несколько дней по аресте я раскрыл свою фамилию. В стены тюрьмы я вошел под именем Бубнов, но, когда мою квартиру разгрузили, я, конечно, стал тем, кем был на самом деле.

Понемногу наша первая, принявшая нас в злополучную ночь камера рассосалась: те, кому пришлось остаться, были переведены по секретным; остальных по снятии допроса выпустили на волю. Но энергичное вступление в тюремную жизнь нашей сплоченной команды оставило свой след. Режим тюрьмы был сломлен, правила нарушены, и мы, оставшиеся, шаг за шагом начали приобретать все новые свободы.

С товарищем Юриным сидеть мне пришлось недолго: его скоро освободили, после чего я сидел с Медведьевым, Мясниковым и больше всего с Алексеем Старцевым, судившимся по нескольким делам и не вылезавшим почти из тюрьмы с начала

1906 или даже с конца 1905 года. Он был сельским учителем, с.-р.. Человек он был суровый, непреклонный во всех своих решениях, но в совместной жизни он был очень покладистый и мягкий. За все время отсидки, а также при частых встречах на воле, у меня с ним никогда не было никаких недоразумений; а это было особенно трудно в условиях тюремной жизни, неизбежно приводившей к расшатыванию нервной системы. Я встретился с ним снова в Иркутске, куда он попал с каторги, с Амурск. ж. д., и мы жили здесь довольно долго, вплоть до революции 1917 года. После этого я с ним виделся довольно часто в Туле, уже в свободное время, но в 1918 году потерял его из виду.

Первые месяцы тюрьмы проходили без особых тревог и волнений. Мы расширяли понемногу свои права, больше отдавались занятиям по камерам, иногда беседовали на окнах, устраивали даже общие собрания, пользуясь удобным для этого расположением тюрьмы, представлявшей из себя вид скобки. Будучи новичками, мы с особым вниманием присматривались к тюремной жизни, наблюдая выдающихся типов тюремной галлерей, как уголовных, так и надзирателей, поседевших в тюремных стенах. С особым вниманием следили мы за событиями на воле, пользуясь, конечно, в большей мере газетными сведениями и из них выводя те или иные предположения. Иногда в эту жизнь врезались маленькие инциденты, нарушая общее спокойное течение и несколько разряжая нашу накопившуюся энергию. Все они происходили, главным образом, на почве недоброкачества хлеба,—к слову сказать для нас, политиков, не особенно-то и нужного, ибо нам хватало своего; но все это быстро улаживалось: нам приносили хлеб из кондитерской. Во время этих маленьких вспышек начальник тюрьмы частенько упрекал нас за шум, указывая, что все происшедшее может ликвидироваться просто переговорами через старосту.

Старостой у нас, политиков, за все время моего пребывания был товарищ Алексей Осипович (кажется, так его звали) Дорер, до своего суда бывший для тюремной администрации «вашим сиятельством» в силу своего графского титула. Он был с.-р. и судился за крестьянские беспорядки.

Вспоминаю, как наш староста выходил на прогулку одетым с иголки; но через несколько прогулок, благодаря игре в козла, которой мы увлекались, его новенький костюм приходил в невозможный вид. Обращать внимание на сохранность костюма в такой азартной игре было некогда: ведь все время раздавались крики «эй, чорт, не подгадь», направляемые особенно по адресу первого и последнего из прыгающих.

Зиму мы прожили довольно тихо, но с наступлением весны наша жизнь снова оживилась: потянуло к окнам и снова запахло борьбой с администрацией. С пасхи же жизнь буквально

забила ключом: к этому времени было уже тепло, и вечера мы проводили на окнах. С этого момента и «воля», в лице знакомых и родственников (особенно первых, не имевших возможности добиться официального свидания), потянулась к тюрьме.

В страстную субботу, вечером, я получил принесенную матушкой передачу—пасху, кулич, яйца и еще кое-что вкусное. Она не могла допустить и мысли, чтобы я утром, когда все будут разговляться особенно торжественно, был без самого необходимого. Передачи доставались ей не особенно легко: я был единственный работник в семье, и последней без меня приходилось туго. Но в каждое свидание, несмотря на мои протесты и уверения, что я не нуждаюсь, я получал все-таки довольно обильное приношение.

Конечно, ее дело было сделано, но все принесенное было уничтожено в этот же вечер: ведь это было накануне свидания, а к этому времени мы обычно переживали маленький кризис, в силу чего все лакомства были тотчас же посредством так-называемых телефонов (веревка, перебрасываемая из окна в окно) поделены с соседями.

Пасхальная ночь еще в приближающихся сумерках принесла с собой массу воспоминаний, налет какой-то тихой грусти; пожалуй, никогда так сильно не тянуло на волю, как в эту первую теплую ночь.

Весна была в полном разгаре. За решеткой тюрьмы мы слышали начавшуюся по городу, разрешаемую сегодня стрельбу, будившую воспоминания; видели проходивших, одетых по-летнему девушек; на сорвавшемся у того или иного товарища, довольно громко звучавшее в тиши весеннего вечера «привет воле»—получали взмах платка, а иногда и ответ «привет тюрьме», еле долетавший до нас...

Некоторые из нас заявили о желании пойти в церковь, зная, что там будут посетители не только тюремного мира (а в это время хотелось видеть новые лица, много лиц), но, конечно, нам в этом было отказано.

Мы сидели на окнах своих камер, но оживленного разговора не было, он не клеился. Казалось, все были охвачены целым роем воспоминаний, наблюдали за колеблющимися огоньками прохожих, слушали непрекращающуюся стрельбу, сменивший ее, наконец, трезвон колоколов и пение тюремного церковного хора, идущего с процессией вокруг тюрьмы, двор которой освещен был факелами. Вскоре показались священники, хоругви, начальство; хор громко пел тропарь, а сзади этому хору вторил оглушающий лязг кандалов идущих за процессией уголовных каторжан. Диссонанс был потрясающий. Этот момент навсегда останется у меня в памяти, ни на чем другом я не видел

такой резкой пропасти между проповедью и делом наших отцов церкви.

Хотелось кричать от боли. Самые чистые религиозные воспоминания детства были теперь разбиты жестокой действительностью. Молчаливая грусть рассеялась, прошлое оставило нас, действительность пробудила от сна.

Первый день пасхи привлек много народу к ограде тюрьмы. Все время раздавались приветственные крики, и для переговоров с волей мы попытались использовать окна коридоров, выходящие на дорогу. Несколько попыток удались, и в дальнейшем мы пользовались ими. На другой день, к вечеру, у тюрьмы было «гуляние» — столпилась масса народу. Тут были и родственники, и знакомые, и просто прохожие, привлеченные интересным зрелищем. Настроение у нас было приподнятое, все были на окнах. С обеих сторон раздавались традиционные «приветы», а под конец мы грянули хором самые боевые революционные песни. Помимо революционных песен с традиционной в то время дубинушкой, одним из уголовных заключенных было спето несколько арий, получивших заслуженные аплодисменты. Концерт окончился карцером. К концу недели общение с волей приняло массовый характер, но продолжалось оно недолго: в один из вечеров собравшихся у тюрьмы разогнали, — правда, довольно курьезным образом. Освободить тюремную площадь от публики пришлось солдатам караульной команды; как бы играя, они перегоняли публику со стороны в сторону. Толпа по-очереди попадала то к одному, то к другому крылу тюрьмы, встречаемая оглушительным «привет, товарищи». Так продолжалось до самых сумерек.

Но на утро у тюрьмы были поставлены конные стражники, в корне пресекавшие всякую попытку собратства. Связь с волей была оборвана.

В это же время мы завоевали право посещать друг друга в камерах, — правда, в пределах своих секретных коридоров.

Как и всегда при групповых арестах, большинство вскоре освобождалось, но часть застревала до суда. Так и у нас застряли с.-р. А. Н. Боровиков и Голицын, получившие впоследствии каторгу, меньшевики с.-д. Ахматов, Брумштейн и Коган, большевик Юдовский и еще несколько товарищей, а также группа солдат. Жили мы сносно: свободно ходили друг к другу в указанных выше пределах, вместе обедали, пили чай, забегали даже в другие секретные и начали борьбу за двухчасовую прогулку. Борьба эта была интересна по своим приемам (мы в шутку называли ее игрой в прятки) и доставляла нам много удовольствия.

Гуляли мы по секретным. На прогулку водил всегда один и тот же надзиратель Данилушка. От времени у Данилушки

плечи покосились довольно основательно и был он славным добродушным стариком, беззлобно ворчливым и именовавшим нас не иначе, как бомбистами. При хорошем настроении Данилушки это произносилось без эпитета; если же он серлился, то добавлялось выразительное «сволочи». Но на добродушного старика никто никогда не обижался, ценя его доброту и хорошее к нам отношение. Мы знали, что, если нужно, можно отказаться от утренней прогулки, намекнувши Данилушке, что отправимся только после обеда; знали, что он заворчит, что не зайдет больше, что у него ноги болят,—но за прогулку после обеда были уверены: Данилушка аккуратно являлся и с ворчанием выводил на двор. И вот этому-то старику при борьбе за 2-часовую прогулку, главным образом, и доставалось. Гуляли мы на заднем дворе. Данилушка заводил обыкновенно с кем-либо свою нескончаемую беседу о земле (больной вопрос его жизни, загнавший его в тюрьму, хотя бы и в качестве надзирателя), важно посматривая на часы, и, когда срок прогулки оканчивался, уводил нас в тюрьму; зайдя в секретную и убедившись, что мы все на месте, он отправлялся за следующей партией.

Правда, мы с заднего двора тюрьмы уходили, но, обежав кругом, снова появлялись на нем. Данилушка гнался за нами, кричал, ругался, как наседка крыльями, размахивал руками, но ничего сделать не мог. Он апеллировал к нашему возрасту и солидности, указывал, что это—какая-то чортова затея,—но, увы!—возвратить нас в камеры не мог раньше, чем через два часа. Однажды, лавируя уже между двумя надзирателями, ибо Данилушке дана была помощь, мы в проходе между тюрьмой и оградой столкнулись с ним, что называется, нос к носу. Видя, что натиска бегущих ему не сдержать, Данилушка прибегнул к решительным мерам: вынул свою пистолю и направил ее на нас. Но воинственная поза так не шла к старику, что один из товарищей, кажется Зюсман, вырвал у него револьвер, заботливо предупреждая, что он может убить самого себя. Это только рассмешило Данилушку. В результате двухчасовая прогулка была завоевана. Некоторым же товарищам при желании удавалось гулять и целый день. Пристрастие Данилушки к земле довели его до упущения по службе, правда, не замеченного начальством и известного лишь нам да ему.

В тюрьме сидела группа эксистов—зеленая молодежь; эксы не носили характера партийных выступлений, но, конечно, их участников ни в коем случае нельзя было отнести к уголовным. Наши партии в условиях подпольной работы не могли использовать революционно-настроенную молодежь, обладавшую одним только бунтарским порывом, но не имевшую еще революционного сознания. И вот у этой крайне настроенной молодежи появились свои организации, свои взгляды, представлявшие

какую-то смесь. Начались эксы, и в результате наши сотюремники дождались военно-окружного суда и попали под знаменитую 279 статью, статью столыпинского галстука.

Среди них с.-д. большевик Дмитрий Прокудин уже был по одному делу приговорен к крепости и веревка для него была неминуема.

С некоторой подготовкой во время прогулки, на глазах всей тюрьмы, ему был устроен довольно рискованный побег. Я с Данилушкой завел беседу о землице, а товарищи, устроивши живую лестницу, перекинули Прокудина через ограду. С прогулки мы пришли благополучно, и его хватились только во время поверки: все были поставлены на ноги, повсюду излазили и обыскали, но Прокудина не нашли. И когда при посещении нашей камеры (осматривали и одиночки) я осторожно напомнил отставшему от других Данилушке о землице, то получил ответ шопотом: «Молчи, бомбист, проговорил Митьку»,—т.-е. Дмитрия Прокудина. С этого времени у старика отпала охота беседовать с нами, и мы частенько над ним подтрунивали. Но Данилушка не обижался, а побегу в душе сочувствовал: человек молодой, жить хочется.

Это было уже при новом начальнике, поставившем себе целью подтянуть тюрьму, и, очевидно, в подмогу ему появился и новый старший надзиратель «Савельич», до сего времени находившийся в опале за слишком рьяное исполнение службы. По рассказам он убил родного брата в карцере за ослушание: тот, несмотря на его приказание, не бросил папироски.

И вот, на следующее после побега утро раздалось неестественно громкое приказание старшего:

— Отворить по одной камере! Если будут грохать, бей наповал!

На эту дикую выходку мы ответили дружным, оглушительным стуком, не вызвавшим, однако, никаких осложнений. Администрация, видимо, не хотела доводить до явного скандала.

Однажды утром нам отпер камеру новенький надзиратель, по виду как-будто только-что выскочивший из парикмахерской. Одет он был в обтяжку, начисто выбрит и прилизан, как зазорный прапорщик старой армии. Первым долгом он счел необходимым отрекомендоваться и не замедлил сообщить, что он—несостоятельный дворянин, что в силу тяжелых условий вынужден был согласиться на службу в тюрьме, но что во всяком случае находиться здесь в качестве надзирателя он считает позорным и при первой возможности уйдет. Обещание свое он, действительно, сдержал. Да если бы он и не ушел добровольно, все равно его убрали бы за слишком галантное отношение к политическим заключенным.

У товарищей в секретной был другой случай. К ним попал деревенский парень, переживший события последних дней, но имевший о них весьма смутное представление. С первого же утра он начал расспрашивать у товарищей об их партийной принадлежности и разделил всех на козлиц и овец: с.-р. он считал мужицкими друзьями, так как они стоят за землю, и всячески притеснял с.-д., указывая, что они крестьян зовут буржуями. Этого паренька нам не удалось использовать; он со своими разговорами полез к другим надзирателям и, конечно, моментально вылетел.

Однажды, возвращаясь с прогулки, я был остановлен товарищами и направлен к ожидавшему меня новому надзирателю. Он поздоровался со мной, пояснил, что отлично знает меня по заводу, где он был сторожем в ствольной мастерской, в тюрьму же он попал благодаря безработице и предложил свои услуги по передаче записок.

Мы решили его проверить; но несмотря на особое пристрастие к казенной лавочке, он оказался аккуратным почтальоном, получая по десять копеек за записку и чаевые на воле. Мы предупреждали его быть осторожным, но пристрастие его к алкоголю привело к тому, что он попался со спиртом, который нес для уголовных, и тоже был выгнан. Это было для нас большой потерей, ибо, ценя его аккуратность, мы не утруждали его даже газетами, доставлявшимися часовыми через проточные отверстия в ограде. Переписка же с волей при свиданиях не всегда удавалась: ей мешали зоркие глаза самых усердных надзирателей. Но один из них—Рублев, рьяный по службе, жестокий, с ограниченным кругозором, обладал, однако, одной слабостью: он не отбирал записок, передаваемых девицами; в этом отношении его просветил товарищ Зюсман, указывая, что это записочки от невест, и даже читал ему им самим написанные любовные послания. Замечая такую записку, он подходил после свидания к камере и с лукавым видом осведомлялся, как поживает невеста, или что-либо в этом роде. Этой его слабостью мы усердно пользовались.

По отношению к слишком усердным надзирателям применялась следующая мера: при возвращении их с дежурства домой вслед им раздавались возгласы—«палачи-звери» и пр., привлекавшие внимание удивленных прохожих.

В конце-концов имена их, как применивших рукоприкладство, попадали в газету, и Рублев долго упрашивал нас написать опровержение, принося клятвы, что он никого и не толкнул. Просьбы его мы, конечно, не исполнили.

После побега Прокудина нас стали заметно прикручивать, а последующие события с провалами—браунинга во щак, маузера у матроса, переносящего в тюрьму просмотренную уже

передачу, и, наконец, отложенного, но известного администрации побега—привели к большей бдительности начальства. Побег предполагался перед поверкой, как говорят—напролом. Решено было, собравшись на лестнице, наброситься на привратника, открыть ворота и, пользуясь сумерками, спастись бегством. Но перед самым выполнением этого рискованного проекта мы были предупреждены одним из администраторов, что все известно, и в подтверждение его слов наша разведка сообщила о пришедшем в усиленном составе караульном конвое. Теперь можно с уверенностью сказать, что провал начался с воли и только оттуда стал известен в тюрьме. В это время неизвестно по какому делу появился у нас с.-р. Елисов. После 1917 года было обнаружено, что он был провокатором по тульской организации и в других местах и считался ценным работником. И не даром еще у некоторых из нас возникли по отношению к нему смутные подозрения. Все эти обстоятельства вызвали частые обыски, впоследствии—даже лишение передачи. Атмосфера сгущалась.

Из выдающихся событий нашей тюремной жизни отчетливо припоминаю первый смертный приговор по делу эксистов. Когда приговор был утвержден, мы терялись в догадках, где же будет происходить казнь. Вечером, часов в девять, мы узнали у товарищей, что приговоренного Баскакова вызывают в контору. Тюрьма всполошилась, все были на окнах. Мы предполагали, что приговоренного уводят в карцер, откуда возьмут на виселицу. Но он неожиданно скоро вернулся в камеру, об'явив, что его назначили в этап. Наивная уловка администрации была ясна. Начальство поняло это и приготовилось: в коридорах, помимо надзирателей, очутились солдаты; на дворе был расставлен усиленный караул. Баскакова увели... Из камеры его мы слышали «прощайте товарищи»... Неизбежное, отвратительное приближалось. Тихо было кругом и только в верхней камере Сережа Дорожкин затянул в полголоса «Вы жертвою пали в борьбе роковой»; тюрьма тотчас же подхватила, и лишь эта грустная песня нарушала гробовое молчание. Баскакова увезли за шестьдесят верст в Алексин и там казнили. Но мы узнали об этом лишь на следующее утро, и всю ночь казалось, что где-то здесь недалеко идут приготовления, готовится, а, может быть, совершается гнусность, окруженная всеми атрибутами власти—начальством, попом и палачом.

Прошло пятнадцать лет. Много пережито, многое забылось, не установишь даже хронологии событий. Много было тяжелого, мрачного, но было и светлое: были покойные минутки, минуты отдыха, когда многое делалось для расширения своего развития. В тишине, лежа на койке, под переливы ветра, под однообразный шорох мышей, мы глотали нужные книги, попол-

няя свой образовательный багаж, или в дружеской, задушевно-товарищеской беседе разрешали возникающие сомнения, вели оживленные споры. Я ухитрялся заниматься по ночам, ложился спать засветло, но при таких условиях заниматься было трудно. Тюрьма в это время уже спала, было тихо; но недалеко от тюрьмы, на кладбище, заманчиво щелкали соловьи, тянуло к окну, а там—рассвет и пробуждение природы. Все это разбивало настроение, читать не хотелось, а на подоконнике появлялись голуби за своей обычной порцией. Наступал ранний летний день, и манила койка. За все время в тюрьме никаких крупных недоразумений в товарищеской среде не было, тюрьма была дружна и сплоченна несмотря на то, что состав политиков был весьма разнокалиберный: наши дебаты к ссорам не приводили, а маленькие неудовольствия или вспышки тонули незаметно в общей атмосфере взаимного уважения.

Тюрьма отражала действительность, она свидетельствовала, что революция пошла в ширь, что захвачена толща народная, что в творческом процессе революции участвуют широкие массы.

Прошло следствие, прошел суд. Наша дружная семья разлетелась в разные стороны: кто на каторгу, кто в роты, а кто и на волю.

Кухаркин.

Кровавые пятна.

(Тюремные силуэты.)

«Как мало прожито, как много пережито».

Это было давно...

Прошли годы, а кровавые пятна не поблекли до сих пор. Среди льющихся ежедневно потоков людской крови они выделяются особенно ярко и попрежнему горят багровым цветом, наполняя душу тоской и жутью, и некуда укрыться от них.

Жизнь Харбинской тюрьмы течет серо, уныло, однообразно, нарушаясь изредка какой-нибудь скандальной историей между уголовными и начальством или же между политиками и жандармом—здоровым детиной, который дежурит у нас в ограде...

Зимний январский день. Время прогулки заключенных. На широком тюремном дворе, устланном снегом, гуляет группа политических заключенных, наполняя воздух шумом, гамом, смехом, веселостью и молодым задором, который еще не успели похоронить окончательно. Сколько тут разных типов... Тут и 18-летний анархист, Лева Харитонов, успевший уже схватить чахотку, но никогда не унывающий и вечно веселый; тут и Петя Коновалов, мой сопроцессник, интересный рассказчик смешных историй, от которых слушатели покатывались со смеха; мастер пушки лить, как говорят уголовные; тут и Петр Францевич Червинский, старый каторжанин, с большими польскими усами, и студент Стуков, и милый Борис Николаев—остроумный шутник, и сын Кавказа Санька Дзенеладзе, и неизменные Шавинский и Литвиненко, позвякивающие своими кандалами.

Разные лица.

Кое-где виднеются молодые, розовые, пришедшие в тюрьму недавно, но большинство поблекшие и осунувшиеся от долгого тюремного заключения. Посторонний, глядя на эти бледные, но полные энергии, молодости и беззаботности лица, никогда не поверил бы, что большинство этих людей впереди ожидают долгие годы ссылки, каторги, одиночного заключения и всевоз-

можных лишений... Я сразу забыл свою хандру, очутившись после одиночки в этой бурной, веселой семье. Уже успел окунуться с головой в тюремную жизнь с ее маленькими интересами, с ее радостями и печалью.

Как хорошо на тюремном дворе после одиночки: песни, возгласы, игры, споры, страстные дебаты. Но бывает и иное. Несмотря на нашу беспечность и веселость, у каждого из нас на душе лежит что-то тяжелое, гнетущее. Не боязнь наказания за любовь к свободе, не долгое заключение впереди. Нет.—Всех угнетает сознание, что на наших глазах медленной смертью умирает товарищ, молодой студент Алеша Луканин. У него последняя стадия чахотки и он скоро умрет. Он верит, что будет жить, и хватается за всякое средство от чахотки. Мы знаем, что он уже не жилец, но говорить об этом боимся даже между собой. Каждый день мы встречаемся с ним на прогулке. Он рад, как ребенок, воздуху, солнцу, снегу; ежеминутно страшно кашляет, захлебываясь кровью, и на снегу зловеще выделяются кровавые пятна. Эти пятна отравляют нам все существование, преследуют, как кошмар... Так угасал на наших глазах человек и весной умер. И мы были бессильны помочь ему. За несколько дней до смерти его унесли в тюремную больницу, унесли, быть может, для того, чтобы в последние минуты он не увидел близких, дорогих лиц и чтобы чужая, враждебная рука закрыла в последний раз глаза умирающему. Утром его застали мертвым, с лицом, измученным предсмертной судорогой, и с запекшейся кровью на белой рубашке...

Давно это было, а кровавые пятна на снегу и на белой рубашке не поблекли до сих пор...

Предатель.

Тюрьма волновалась. Как политические, так и уголовные чувствовали, что где-то среди заключенных есть провокатор. Узники всегда живут мыслью о воле, о побеге из проклятых стен неволи и, понятно, изоощряют свой ум во всех направлениях, чтобы устроить удачный побег. Вести подкоп под тюремную стену стоит невероятных, адский усилий, и когда, казалось бы, один шаг—и ты на воле, приходят тюремщики и захватывают врасплох... Прощай бессонные ночи, проведенные в трудной подземной работе, прощай мечты о воле! Снова за решеткой.

Начальством был открыт целый ряд выпиленных решеток, несколько подкопов в уголовном отделении и 3 подкопа у нас, политиков. Знали, что предатель есть. Подозрение падало на нелегального политического Франка, но доказательств не было. Вел он себя в высшей степени вне всяких подозрений, и придраться было нельзя. Но выручил случай. Отделение политической тюрьмы все было изрыто неудавшимися подкопами, и администрация знала наизусть все места, где удобно было сделать лазейку. Но заключенные всегда изобретательнее своих палачей.

Политические 7-й камеры, высчитав время от обыска до обыска, решили воспользоваться кратким промежутком, чтобы устроить побег, пробили цементовый пол и стали рыть подкоп; работа кипела во-всю и близилась к концу. Оставалось проработать одну ночь и бежать. Но как-раз вечером, внезапно явился обыск и сразу же обнаружил подкоп. Так прямо-таки и пришли к койке товарища Литвиненко, где был подкоп... и опять все рухнуло. Мы нервничали, глядели друг на друга подозрительно и ломали голову, кто же предатель? В этот же вечер пришедшие из суда товарищи сообщили нам, что, знакомясь со следственным материалом по делу 57-ми социал-революционеров, они обнаружили документы, уличающие одного товарища в том, что он состоит агентом охранного отделения. Это был подозреваемый раньше Франк. Всем стало ясно, что и подкопы выдает он, ибо он знал о них и принимал участие в работе. Он не догадывался, что у нас есть тяжкие улики против него, и по обыкно-

вению был спокоен. Участь его была решена. Через несколько дней утром, когда Франк, стоя на нарах, надевал рубаху, в момент, когда глаза его были закрыты подолом рубахи, товарищ Бондаренко-Кудымовский ударил его ножом в живот.—«Сдохни, собака»,—сказал он и стал наносить удар за ударом извивающемуся предателю. 18 ран нанес он ему, на девятнадцатой нож согнулся. Через минуту провокатор умер...

Я видел, когда его несли в мертвецкую. Он весь был покрыт кровавыми пятнами... Да, давно это было...

Варя Коновалова.

Тюремное начальство в тревоге. Начальник тюрьмы, чахоточный хохол Мозговой, бесится, надзиратели перепуганы: из тюрьмы среди белого дня, через ограду, бежала важная политическая анархистка—Коновалова. Вся жандармерия поднята на ноги. А мы радуемся, ибо знаем, что Варя бежала не для того, чтобы сидеть сложа руки. Она там, на воле, готовит новое покушение на коменданта города, палача Дунтена. Зная ее энергию и преданность революционному делу, мы уверены в успехе.

А время бежит быстро, быстро. Каждый день мы просыпаемся с мыслью: не случилось ли чего-нибудь в городе. Но... ничего нет. Однажды утром от пришедшего тюремного фельдшера, сочувствующего нам, мы узнали, что Коновалова убита. Когда и при каких обстоятельствах—неизвестно. Мы были ошеломлены, мы были до того поражены этой смертью, что не могли притти в себя. Через несколько дней я узнал от ее старушки-матери, что Варя застрелилась нечаянно, накануне покушения на коменданта, которого террористы решили убить в офицерском собрании при встрече нового года. Накануне этого Варя с двумя товарищами поехала осматривать местность, где должно произойти покушение. Когда план покушения был составлен, товарищи ушли, а Варя поехала на извозчике дальше.

Вот на углу улицы промелькнула подозрительная фигура, за ней другая. Должно быть сыщики,—подумала Коновалова. Решила осмотреть, в порядке ли револьвер, и когда нащупывала рукой оружие, нечаянно задела курок. Раздался выстрел, выстрел смертельный... кровь стынет в жилах... гаснет сознание. Еще один последний вздох, еще одна секунда страдания, и душа ее чистая, светлая улетела в небытие. Смерть была моментальной, так как пуля пробила правое легкое. Погибла прекрасная девушка, погибла на своем революционном посту. Не стало милой, жизнерадостной Вари...

«Я сразу узнала ее, голубушку, хотя она и была загримирована. Мало она изменилась, только кровавое пятнышко выде-

ляется на правой стороне»,—говорила мне старушка... С трудом я слушал рассказ плачущей матери: рыдания давили мне грудь и я едва их сдерживал.

Давно это было. Ее могила успела зарости травой, а кровавое пятно на груди погибшей девушки не поблекло до сих пор.

Террор в тюрьме.

Сидя в тюрьме, мы решили сделать несколько террористических актов на агентов власти.—«Не убили на воле, так убьем в тюрьме»,—говорили товарищи. Стоит достать один револьвер, пару кинжалов и—дело в шляпе. И мы, не откладывая в долгий ящик, принялись за дело. Был намечен целый ряд лиц, достойных смерти, особенно из судебно-прокурорского мира. Мы знали, что прокуратура сыграла отрицательную роль в русском освободительном движении. Перед нами был ряд террористических актов—убийства прокурора Стрельникова в Одессе Желваковым в 1882 году и покушение на товарища прокурора Котляревского в Киеве Валерьяном Осинским в 1878 году.

Мне предстояло иметь дело с прокурором Ивановым, на которого несколько лет тому назад было совершено покушение на Сахалине: в него стреляли. Достал яд, кинжал, написал прощальное письмо к родным, думал—застрелят при покушении, и жду. В один прекрасный день 31 июля 1911 года прокурор, посещая тюрьму, изволил навестить и мою одиночку № 14. Стали об'ясняться. Кинжал в боковом кармане пиджака, правая рука наготове... Куда его ударить? В живот—говорят, панцырь носит. Состояние напряженное. Он, видимо, заметил, что я волнуюсь:

— Вы нервно настроены—говорит он.

— Да, это со мной бывает,—отвечаю. Неужели не удастся, думаю, а момент подходящий... Иванов собирается уходить, взял со стола фуражку... Мгновение... и он падает, пораженный кинжалом в шею. Я наклонился и нанес второй удар. Третьего нанести не успел—чем-то тяжелым меня ударили по голове, и я потерял сознание, но от посыпавшихся новых ударов пришел в себя, отбросил кинжал в сторону и стал спокойно у стены. Ворвалась свора тюремщиков и началось избиение... Били жестоко, до потери сознания, били с наслаждением револьверами, шашками, кулаками, сапогами и всем, чем попало. Больше всего по лицу и голове. Весь залит был кровью, но боли не чувствовал. Только во рту, наполненном кровью, ощущал соленый привкус...

Когда на мгновение избиение прекратилось, я увидел прокурора лежащим на полу в луже крови, а на его белоснежном кителе выделялось кровавое пятно... Потом снова стали бить, а подскочившие тут же два тюремщика схватили меня за руки и крепко скрутили их сзади, только кости хрустнули, и куда-то повели. Дорогой сквозь побои я слышал крик товарищей: «Палачи!». Вдруг нечеловеческий удар эфесом шашки по лицу выбил меня из рук сопровождавших палачей, и я потерял сознание. Очнулся только в карцере на мокром каменном полу и во всем теле почувствовал сильную боль; лицо вспухло, а изо рта, носа и ушей текла обильно густая, липкая кровь. Сознание работало плохо. Словно сквозь сон помню, что приходили какие-то чиновники, о чем-то спрашивали, но я отказывался отвечать и снова забивался в темный уголок карцера. Прошла вечерняя поверка. Настала ночь, и я, положив голову на холодные, мокрые плиты карцера, старался забыться. Но сна не было.

В коридоре слышится какой-то подозрительный шорох и шопот, а карцер расположен в каком-то глухом месте, что напоминает застенок. Приготовился... жду пыток... Решил бороться до последнего. В дверь раздается легкий стук руки, потом повторяется снова. Приподняв голову, спрашиваю:

— Что угодно?

— Как вы себя чувствуете?—слышу мягкий вкрадчивый голос тюремщиков.—Вас сильно избили.

— Чувствую себя хорошо, только голова сильно болит,— отвечаю.—Скажите, а прокурор жив или умер? Меня это интересует больше всего.

— Как же, умер, умер. Такие две здоровые раны нанесли вы ему...

Это хорошо, если умер, думаю я и снова начинаю дремать. А вкрадчивый голос продолжает:

— Промучитесь сегодня ночку, а завтра вас выпустят и судить скоро будут...

Спрашиваю, откуда он это знает.

— В конторе слышал,—военно-полевой суд будет...

Военно-полевой суд...—словно молния, пронеслось в моем мозгу, значит, меня повесят. Эх, почему меня не убили сразу на месте? Постепенно соображаю, что здесь гражданских лиц, да еще военно-полевому суду не предадут, и говорю надзирателю, что он врет, ибо в Харбине нет военно-полевых судов.

— Я и не говорю, что в Харбине, вас повезут во Владивосток...

Но дальше я уже не слушаю, что он говорит. Отправка меня во Владивосток и предание там военно-полевому суду кажется очень вероятной. Хотя по закону этого сделать нельзя, но станет ли русское самодержавие исполнять закон, который

оно же само установило? Итак, быть может, меня через два-три дня повесят, такие случаи в истории нашей революции не редки.

Страха смерти не чувствую, но в душе какая-то страшная пустота, она меня давит. Чего-то мучительно жаль. Вся жизнь, как на ладони, проходит перед глазами—особенно, забытые воспоминания детства... будто все это только вчера было... Вспомнилась далекая родина, старуха мать, сестра, словом—целая жизнь. Под утро я забылся кошмарным тяжелым сном. Только на следующий вечер я узнал, что все сказанное надзирателем—ложь. Семь дней пролежал я на мокром полу карцера, по ночам бредил, и среди всевозможных фантастических картин мне грезилась кровавые пятна...

Литвиненко.

Теплый августовский вечер. На дворе тихо-тихо. Приумолкла тюрьма, словно тайну хранит, словно думает про себя думу великую. Я сижу, сгорбившись, на маленьком окошечке и гляжу на загорающиеся в небе звездочки, а из противоположной десятой камеры до слуха моего доносятся красивые звуки чарующей украинской песни: «Ревуть, стогнуть гори хвиди в синесеньким мори»... Сначала мягкие, тихие, а потом—громкие, бурные, хватающие за душу. Это поет товарищ Литвиненко. Голос у него мягкий, звучный, ласкающий, красивый. Близлежащие камеры словно вымерли, прислушиваясь к пению хора, который вторит словам товарища Литвиненко. Затаив дыхание, я с восторгом прислушиваюсь к словам чарующей песни, так гармонирующей с моим настроением. От нее веет ширью просторных полей Украины и прохладой седого Днепра... И нет тюрьмы, нет решеток, песня уводит в мир иной, навстречу солнцу и свободе.

«Вжеж два роки, як в кайданах терпим тяжки муки»...—заливается Проша, а хор, словно волны моря, вторит ему величаво.

Никто в тюрьме не умел так петь, как пел Проша. Сын далекого юга, он любил Украину, простор ее полей, раздолье рек, свободу, но из «турецкой неволи» русского царизма ему уйти не пришлось, хотя много подкопов он сделал. Он погиб в неволе. У нас в тюрьме служил помощником начальника тюрьмы молодой сыщик, некто Гаевский, типичный палач и провокатор. Его ненавидела вся тюрьма, а группа политических решила убить его, и Проша должен был это исполнить. Около месяца следил он за помощником, но подкараулить его в удобном месте не удавалось. Решил действовать напролом. В последний раз мы виделись с товарищем на дворе накануне его смерти. По обыкновению меня вывели на прогулку поздно вечером, когда почти вся тюрьма была под замком. Это был период строгой изоляции меня от всей тюрьмы после покушения на прокурора. Проша, оказавшийся случайно во дворе, незаметно подошел ко мне, где я гулял, и мы успели перекинуться несколькими словами:

— Ну, Саша, завтра я должен во что бы то ни стало исполнить это, т.-е. убить эту собаку. Вся эта осторожность мне надоела. Нужно сразу покончить с ним...

На все мои просьбы и уговоры не торопиться и подождать, когда меня из одиночки переведут в общую камеру и тогда исполнить общими усилиями, он ответил:

— Нет, нельзя, ты и так заработал бессрочную каторгу, хватит с тебя; теперь очередь за мной... Ну... пока, прощай, покойной ночи,—и он ушел. Ушел навсегда.

Я был в ожидании чего-то страшного. На другой день, в воскресенье, 18 сентября, около двух часов дня я услышал ряд выстрелов, до 30 сразу, и почувствовал недоброе. Потом выяснилось, что Литвиненко, покушаясь на помощника, хотел обезоружить надзирателя, но последний, хотя и раненый, вырвался и поднял тревогу. Сбежавшаяся стража открыла стрельбу, а Литвиненко вместо того, чтобы укрыться за каменное здание конторы, бросился на помощника с кинжалом и был осыпан градом пуль. Несколько выстрелов попали в него и остановили дальнейшее движение, но он не упал. Разорвав ворот рубахи и обнажив грудь, он крикнул тюремщикам: «Стреляйте, палачи!» и упал, пораженный в самое сердце, обливаясь кровью...

Недопетые песни, молодецкая удаль, цветы, скошенные на заре, уж никогда, никогда вы не увидите солнца и радости. Певец нашел безвременный конец... не стало Проши... Я видел его на другой день после смерти. Лицо его было спокойное, строгое, словно удивленное, а на груди алело злое пятно засохшей крови...

Давно это было, но кровавое пятно не блекнет до сих пор.

Тюремная драма.

Как быстро летит время. Окончилось следствие, был суд. Я осужден в каторжные работы, закован в кандалы и вместе с товарищами отправляюсь на каторгу. Бодро идем в дорогу, на новую жизнь; весело побрякивают кандалы... Кровавые пятна остались позади. Впереди целая неизведанная жизнь: ведь молодость живет надеждами... Смотрю на будущее сквозь розовые очки...

Но каторга меня встретила неприветливо.

Уже по дороге я узнал, что в той тюрьме, куда я назначен, был целый ряд самоубийств. Значит, опять кровавые пятна... В душу проникает жуть и холод: что-то страшное будет. Снова вспоминается детство, милое, далекое детство, и я, размечтавшись, замедляю шаги.

— Эй, подтянись, сволочь!—кричит конвойный,—приклада захотел?

Я ускоряю шаги, а грезы разлетелись, как испуганные бабочки...

И вот — в Кутомарской каторжной тюрьме. Я здесь недавно, а успел уже пройти целый ряд испытаний в виде голодовок, ручных кандалов, лишения прогулки, переписки, книг, постелей и наказания карцером. И все это с благословения губернатора Киашко. Но это еще не все—Киашко грозит пороть нас, политических, розгами за неподчинение режиму. Мы знаем, что это не пустая угроза. Четыре самоубийства товарищей—Маслова, Лейбазона, Пухальского и Рычкова,—погибших несколько дней тому назад, протестуя против порки, не остановили палача. Не смутят его и новые жертвы. Многие заключенные не в состоянии жить под постоянной угрозой розог, и снова начинается ряд самоубийств и трагедий. Ночью отравился товарищ Кириллов, но яд не действовал, и он, промучавшись целую ночь, снова принял сильную дозу. Начинается мучительная, длительная агония. Я слышу, как его тело корчится в судорогах, сильный организм борется со смертью. От судорожного движения тела печально звенят оковы на руках и ногах... слышится, порой, страшный стон и хрипение и... опять звон...

О, этот звон, этот хрип! Я буду слышать его, умирая.

Когда администрация, узнав об отравлении, хватилась, то Кириллова уже нельзя было спасти. Слишком поздно... Он умирал. На бледном, бескровном лице его была печать великого страдания, на губах выступила кровавая пена... Он умер в страшных мучениях под насмешки тюремщиков...

Через несколько дней палачи убили товарища Васильева в одиночке: поломали ему ребра, разбили голову. «Он был весь залит кровью»,—говорил мне с дрожью в голосе уголовный... Прошли долгие годы, а кровавая пена на устах тов. Кириллова и облитый кровью т. Васильев не исчезли из памяти.

... А как давно это было!..

Ваня Черствов.

Дикий произвол в тюрьме свирепствует во-всю. Каждый день—зуботычины, избиение прикладами, замками, сапогами. Порют розгами за малейший пустяк и политиков и уголовных. Пахнет средневековьем...

Мы с Ваней Черстовым сидели в карцере, в ожидании порки. Он—уже второй раз. После первой пытки он два раза покушался на самоубийство: сначала вскрыл себе вены осколком разбитого стакана, истек кровью, но не умер; хотел повеситься, порвал рубашку, сделал петлю, но палачи заметили и помешали... За это его снова наказали розгами, посыпая тело солью. Теперь он лежал на холодном полу карцера, полуобескровленный и избитый. Жизнь едва теплилась в его измученном теле. Я взял его за руки и при свете догорающих угольев печки увидел на них две глубоких раны с рваными краями. Мне стало жутко. А ночь надвигалась, неся что-то страшное...

Поверка приближалась. Я ждал пытки, позора, издевательства и нервничал. Знал, что это неизбежно, как рок, и нет той силы, которая могла бы это изменить. После недолгого раздумья принял большую дозу морфия. Мы поцеловались... Черстов, переживший все это, мучился больше меня. Он страдал за меня. Яд, очевидно испорченный, не убил во мне жизни, он принес только мучение, и я, обессиленный, стал жертвой человеческой тупости и злобы... Привели в застенок, насильно свалили на пол, связали... Десятки тюремщиков навалились на руки и ноги и голову и дали волю своим зверским инстинктам. Мучили с каким-то наслаждением, исковеркали душу, надругались и потом снова бросили в карцер. Бессильная злоба, отчаяние, боль, жажда мести овладели мной... Хотелось отомстить, страшно отомстить, а потом пусть жгут на медленном огне, пусть казнят, пусть мучат, пусть страшно мучат—лишь бы отомстить... Черстов дрожал, как в лихорадке.

— Ваня, дай мне яду или помоги стекло найти. Не хочу больше жить. Не могу. Я вскрыю себе вены...

Сначала Ваня молчал. Я искал кусочек стекла на подоконнике, искал во всех тайных уголках карцера, но ничего не было... За маленький кусочек стекла я готов был отдать несметные сокровища, даже жизнь. Предстояло разбить стекло, треск которого вызвал бы внимание стражи, и нам снова грозила бы порка. Я страшно страдал. А тихий, измученный голос Вани ласкающе убаюкивал меня. Он говорил, что умирать после пережитого бессмысленно, что нужно жить для мести... Долго и много говорил он. Нервы не выдержали у меня и я зарыдал, как ребенок, как рыдают о чем-то дорогом, потерянном навсегда, что никогда, **никогда** уж не вернется...

Бурный приступ отчаяния сменился страшной усталостью и сознанием собственного бессилия. Ведь Ваня прав. Нет выхода. Умирать поздно, да и нет возможности, все равно помещают и хуже будут мучить. **Буду жить для мести...** Под тяжестью пережитого я забылся кошмарным сном, и во сне мне грезились кровавые раны на руках Вани. Через год он умер...

Давно это было, а кровавые пятна не поблекнут и никогда не исчезнут.

П о б е г.

Режим в тюрьме свирепствовал попрежнему, и заключенные шли на самые рискованные побегы, лишь бы вырваться из этого ада или погибнуть. Политические стремились к побегу с целью: завязав связь на воле, убить виновника этого ужаса, губернатора Киашко. Некоторым оставалось сидеть только месяцы, но они бежали при первой возможности, не считаясь с последствиями. Как только с нас, политических, сняли кандалы и стали посылать на тюремные работы, мы стали мечтать о побеге. Дни и ночи думали об этом. Разработали несколько планов побега, в которые были посвящены только близкие участники: Лышковский, Корешков, Стасенко, П. Петров, я и еще несколько товарищей. К большинству выработанных планов лично я относился скептически и в успех наших затей не верил. На моих глазах происходили десятки побегов и все они были неудачны. Но большинство товарищей думали иначе и строили невероятнейшие планы, иногда такие, что только больная фантазия могла верить в их осуществление. Первое лето некоторым из нас пришлось работать на кирпичном заводе, и товарищи собирались бежать отсюда следующим образом: днем во время работы зарыться в песок и лежать до окончания работ. Когда работа кончится, обнаружат недостающих и начнут их искать. Разумеется, погоня бросится в разные стороны, и когда все утихнет—вылезать и ползти к ближайшему лесу. План был невозможен, и мне много усилий стоило доказать товарищам его неосуществимость.

Бывало, укроемся где-либо в уголке от конвоя и ведем страстные дебаты шепотом по поводу побега... Так прошел год. Зимой бежать по тайге при забайкальских морозах—безумие. Мы ждали весны и с ее наступлением принялись за осуществление своих планов, своей мечты. Как-раз двое самых ярых адептов побега—мои близкие друзья Федор Николаевич Корешков и Федор Петрович Лышковский—были назначены начальством возить воду на лошадях в тюрьму из реки, протекающей в полуверсте от тюрьмы. Сопровождал их один надзиратель. Они решили этим воспользоваться и бежать нам троим вместе. Узнав

план их побега, я категорически отказался и умолял их не делать безумного шага, не губить себя напрасной несбыточной мечтой. Но они были непреклонны.

Я сидел в одной камере с Лышковским, и за несколько дней до рокового дня мы с ним целые ночи напролет, не смыкая глаз, шопотом обсуждали план их побега. Спорили горячо, долго, иногда ссорились, но потом снова сходились. Общая тайна влекла нас друг к другу. Переубедить его я не мог, у него было слишком много веры в свое дело, и побег был решен при моем молчаливом согласии. Я не мог предотвратить их гибели и страдал молчаливо... Нужно было сделать кое-какие приготовления, достать табак, спичек, а главное—деньжат. Последнюю ночь накануне рокового дня мы с Федором Петровичем провели без сна. Спорили и снова рассорились. Настало утро 10 июня 1914 года, как нарочно туманное—дождь льет, как из ведра—самое благоприятное для побега. Значит, они рискнут, подумал я, и сердце болезненно сжалось. Лышковский был бледен, молчалив, нервно настроен, но старался казаться спокойным. Время было выходить на работу. Он закурил папиросу, попросил у товарища А. Слива коробку спичек, спрятал их в карман и незаметно для посторонних подошел ко мне.

— Ну, Юзя, прощайте, мы с Федей сейчас уходим... День, видите, какой удачный, дождь льет, как из ведра, и ни одна собака нас не отыщет... Прощайте, не поминайте лихом,—и он крепко пожал мне руку.

Что мог я ему ответить? Разбивать в последний момент его веру в успех задуманного дела я не мог.

— Прощайте, Федор Петрович, от души желаю вам успеха.— И мы расстались... Навсегда... Прошло около часу. Вдруг раздался выстрел часового на вышке и пошла трескотня. Поднялась тревога... Я сразу понял, что случилось. Товарищи в камере переглядывались между собою и о чем-то шептались. А во дворе тюрьмы готовилась погоня за беглецами.

Дело обстояло следующим образом:

Они уехали по воду, осмотрели местность и решили при обратном возвращении бежать. Уголовный банщик рассказывал мне, что привезли воду оба взволнованные и торопят: «Скорей, скорей, берите воду». Корешков даже кошелек с махоркой подарил. И они опять уехали на реку. Когда стали наливать воду, у лошади Корешкова «развязался» хомут и он стал его подвязывать, но, будучи не в силах затянуть ремень, позвал на помощь надзирателя. Когда тот подошел и взялся за ремень, Федя схватил его сзади за шею, крепко сдавил и при помощи Лышковского связал его и завязал рот; тут они его обезоружили, сняли верхнюю одежду, в которую переоделись сами, а связанного надзирателя положили под кустом. Отирягли.

лошадей, сели верхом и, пользуясь дождевой завесой, скрылись в туманной дали...

Все это произошло ловко, быстро, в одно мгновение. Но дело скоро приняло другой оборот. Надзиратель, очевидно плохо связанный, успел развязаться и поднял тревогу. Началась погоня, которая по следам лошадей беглецов сразу направилась на верный путь. Через 25 верст беглецы были настигнуты, когда, очевидно, измученные верховой ездой, отдыхали в кустах. Их окружили. На требование сдаться Лышковский три раза выстрелил в преследователей из револьвера, взятого у надзирателя. Нападавшие попятились назад. Через несколько мгновений раздался снова выстрел, потом другой. Эти два выстрела были вестниками смерти товарищей. Первым выстрелом в рот Лышковский лишил себя жизни: пуля прошла в области мозга и вышла наружу. Вторым выстрелом в рот покончил маленький Федя. Знать, торопился умереть вместе с товарищем: выстрелом у него выбиты передние зубы и спалены усы, пуля застряла в черепе. Смерть наступила моментально... Они предпочли смерть неволе и позору...

Дорогие и незабвенные имена!

Ф. Н. Корешков, уроженец Пермской губернии, Верхотурского уезда. Судился в г. Иркутске в 1907 году по делу убийства жанадрмского ротмистра Гаврилова. Осужден был на 20 лет каторжных работ.

Станислав Лисиш, он же Федор Лышковский, житель города Варшавы. Судился в Красноярске по делу боевой организации с.-р. в 1906 году. Осужден военно-полевым судом на 15 лет каторги... Оба товарища после целого ряда мытарств и борьбы с тюремщиками погибли смертью мучеников. Я видел моих погибших друзей на другой день. Лицо Феди Корешкова было измучено судорогой и глаза полуоткрыты, как бы удивленные. Федор Петрович Лышковский был спокоен и как будто о чем-то думал с открытыми глазами. Уста обоих были покрыты густой липкой кровью.

Давно это было... А кровавые раны на устах моих друзей не засохли до сих пор...

Последние жертвы.

Но это не все... 21 июля того же года часовой выстрелом из ружья в окно камеры убил товарища Авербаха. Так, ни за что ни про что. Из любви к искусству. Товарищ сидел у стола и упал, пораженный пулей в самое сердце. Кому была нужна эта бессмысленная смерть человека, закованного по рукам и ногам?

Мне случайно пришлось быть в этой камере, где совершилась драма. Я видел громадную лужу багровой крови на полу, где лежал убитый.

Давно это было, а кровавая лужа на полу не поблекла и не высохла до сих пор.

Но этого мало. Почти накануне революции покончил самоубийством т. Зубарев. Он повесился в карцере, не выдержав издевательств и преследований тюремщиков во время либерального начальствования г-на Котынского в Кутомаре. Горе было тому, кто не умел угодить «либеральному» начальнику—из карцера не выпускали. Зубарев был последней жертвой строгого режима романовской каторги.

Пройдут годы, много лет, а бессонные ночи в карцерах, кровавые пятна кругом и позорные пытки никогда не изгладятся из памяти. Они жгут мозг, словно раскаленное железо, наполняя душу тоской и болью. Они горят и рдеют алым пламенем и не дают забыть.

Жуковский-Жук.



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1925 ГОД

Н А

ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ

12 книг в год

БИБЛИОТЕКУ

12 книг в год

журнала „КАТОРГА и ССЫЛКА“.

Содержание „Историко-Революционной Библиотеки“:

1. М. Кротов. Якутская ссылка 70—80 г.г. Исторический очерк на основании неизданных архивных материалов. С прилож. кратких биографий всех ссыльных. Под ред. В. Д. Виленского-Сибирякова. Стр. 242 + 2 вклейки иллюстр. Ц. 1 р. 90 к.

2. Н. С. Тютчев. Часть I. Революционное движение 1870—80 г.г. Статьи по архивным материалам. Редакция А. В. Прибылева. Стр. 192 + портрет на отд. листке. С иллюстр. в тексте. Ц. 1 р. 50 к.

3. Его же. Часть II. В ссылке и другие воспоминания.

Стр. 224 + порт. на отд. листе. С иллюстр. в тексте. Ц. 1 р. 75 к.

4—5. Егор Созонов. Письма к родным. 1895—1910 г.г. Редакция Б. П. Козьмина и Н. Н. Ракитникова.

Стр. 383 + 3 вклейки портр. С иллюстр. в тексте. Ц. 3 р. — к.

6. О. Н. Буланова. Роман декабриста. (По семейному архиву декабриста В. П. Ивашева.) Стр. 256 + 2 вклейки портр. Ц. 2 р. — к.

7. По тюрьмам. Сб. воспоминаний из эпохи первой революции. Редакция Я. Шумяцкого. Стр. 212. Ц. 1 р. 50 к.

8—9. Декабристы на каторге и в ссылке. Сборник статей, составленный Комиссией по празднованию юбилея восстания декабристов при Обществе политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Печатается.

10—11. Л. П. Меньшиков. Охрана и революция. К истории тайных политических организаций в России. По материалам департамента полиции и Московск. охранного отделения. Часть I. Годы реакции 1885—1898 гг. Печатается.

12. Деятели русского революционного движения. 40 портретов с краткими биографиями. Печатается.

Все книги выйдут в течение 1925 года.

Каждая книга размеров 12—18 листов со многими иллюстрациями, что составит в год приблизительно 180 листов.

Подписная плата:

на год (12 книг)—15 руб.; на $\frac{1}{2}$ года (6 книг) 8—руб.; на 3 месяца (3 книги)—4 руб. 50 коп.

В отдельной продаже цена книги 1 руб. 50 коп.—2 руб. 50 коп., а всей библиотеки свыше 20 рублей.

При одновременной подписке на журнал „КАТОРГА и ССЫЛКА“ и ИСТОРИКО-РЕВОЛЮЦИОННУЮ БИБЛИОТЕКУ

подписная цена:

на год (20 книг)—25 руб.; на $\frac{1}{2}$ года (10 книг)—13 руб. 50 коп.; на 3 мес. (5 книг)—7 руб. 50 коп.

Подписку направлять в Контору Издательства Всесоюзного Общества Политич. Каторжан: г. Москва, Лубянский пассаж, 32. Тел. 3-64-73.

18821

Цена 1 р. 50 к.



ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ в адрес конторы Издательства:
МОСКВА, Лубянский пассаж, 32, телефон 3-64-73.

СКЛАД ИЗДАНИЯ: Москва, Книжный склад „МАЯК“ Издательства
Общества политкаторжан, Петровка, 7. Тел. 3-63-20.

